

Librarium

# ЛАРИСА РЕЙСНЕР

ФРОНТ



РИПОЛ КЛАССИК

Librarium

Лариса Рейснер

**Фронт**

«РИПОЛ Классик»

1924

УДК 94(47+57)  
ББК 63.3(2)6

**Рейснер Л. М.**

Фронт / Л. М. Рейснер — «РИПОЛ Классик»,  
1924 — (Librarium)

ISBN 978-5-386-14568-2

Воспоминания Ларисы Михайловны Рейснер (1895–1926) о Гражданской войне – важнейшая страница в истории отечества и русской культуры XX века. Полные страсти и пронизанные болью за наш многонациональный народ, эти документы читаются сегодня как впечатляющая хроника борьбы, которую во имя лучшего будущего вели наши прадеды, и вместе с тем как захватывающий роман о русских людях, принимавших деятельное участие в рождении великой эпохи. В издание также вошли очерки, посвященные социалистическому Гамбургскому восстанию 1923 года и положению дел в Германии двадцатых годов минувшего века. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 94(47+57)

ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-386-14568-2

© Рейснер Л. М., 1924  
© РИПОЛ Классик, 1924

## Содержание

Слово над фронтами: о военных и гражданских заметках Ларисы Рейснер	6
Фронт	9
Казань	11
Казань – Сарапуль	22
I	22
II	24
Маркин	27
Астрахань	32
I	32
II	32
III	33
IV	34
V	34
VI	35
VII	36
VIII	36
IX	37
X	38
XI	38
XII	39
Лето 1919 года	41
I	41
II	41
III	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# **Лариса Рейснер**

## **Фронт**

© Марков А. В., вступительная статья, 2021

© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022

© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022

## Слово над фронтами: о военных и гражданских заметках Ларисы Рейснер

Летопись войны или революции обычно пишут полководцы, предводители, смелые организаторы, которые всегда знают, чего хотят. О любой гражданской войне невозможно писать летописно или триумфально: кто назовет себя властным над своими желаниями и идеалами в ходе таких столкновений? Писать о такой войне можно лишь с сожалениями. Читая отчеты Ларисы Рейснер о продвижении красных войск, о жизни глубоко неблагополучной Германии в 1923 году или ее аналитические записки о причинах поражения декабристов, сразу понимаешь, как крушение устремлений предшествует историческим поражением и как трудно оказывается говорить о произошедших катастрофах, даже если победа – на твоей стороне.

Лариса Рейснер (1895–1926) – имя для любого читателя, интересующегося советской историей, известное: о ней могли говорить в советское время меньше, чем она заслужила, но она никогда не оставалась в тени. Из семьи социал-демократов, тесно связанной со всеми мыслящими левыми политиками Германии и России, выпускница Психоневрологического института, самого новаторского частного учебного заведения старорежимной России, душа компаний новых поэтов, возлюбленная Гумилева и предмет обожания Мандельштама и Пастернака, она была образцовым новатором, как все тогдашние режиссеры, инженеры и изобретатели, встречавшиеся и обсуждавшие, что наступила новая эпоха. Между ней и Эйзенштейном, Выготским и, скажем, Львом Терменом больше общего, чем различного.

Стремление преуспеть во всем, в литературе, технике, даже военных миссиях, она разделяла со всем своим кругом – один из тех, кем она увлекалась страстно, Сергей Колбасьев, был учеником Гумилева, творцом не только советской военно-морской прозы, но также советской звукозаписи и советского джаза. Хотя Надежда Мандельштам, вдова поэта, и порицала потом Ларису Рейснер и ее мужа Федора Раскольникову за благополучную богемную жизнь в голодные годы, но в действительности это был образ жизни изобретателей, пионеров своего дела. Ее дипломатические успехи и ранняя трагическая гибель от инфекции, конечно, не могли не вызывать сочувствия даже тех, кто считал своими врагами всех красных.

Лариса Рейснер – революционер? Конечно, да. Образцовый эмиссар, организатор мирной жизни, одна из создательниц советской дипломатии? Конечно, тоже да. Гений советской литературы – на самом деле это не менее важно: правильно написать репортаж, объяснить, какие силы и как действуют, каковы минимальные условия исторической правды, столь же сложное дело, как электрификация всей страны, восстановление транспортного сообщения и строительство промышленных городов. Этому поколению пришлось решать как будто технические задачи, но требующие живого воображения, превышающего профессионализм инженера, чтобы смелая индустрия не обернулась банальным благополучием, а напротив, судьбы людей исполнялись в честных и качественных решениях. Борис Пастернак в «Докторе Живаго» потом описал, к чему приводит «суэта этих вечных приготовлений», «позапрошлогодние декреты», «бедствие среднего вкуса», которые, к несчастью, и превратили революцию в то, на что некоторые не смогли отозваться.

Но революция пока не имела конца, и противостояние белых и красных Лариса Рейснер описывала как конечный суд над судьбами. Жизнь в занятых белыми городами кажется благополучной и даже уютной, но для Рейснер это дантовский адский уют постоянной рутины, мелких компромиссов, согласия на насилие, которое все дали без собственного ведома, просто заботясь о выживании. Это призрачный мир адских подобию, под стрекот пишущих машинок, шумную раздачу пайков и глухие допросы в застенках. Красноармейский мир – это, конечно, не рай, но, бесспорно, мир эсхатологический, иконописный, требующий широко глядеть в глаза

смерти. В этом мире те символы Серебряного века, которые до этого выглядели стилизациями, как град Китеж, или небесный Кремль, или тонкие иконописные черты человеческого лица перед решающим поступком, приобретают свой настоящий размах: развеваются свитки судеб, блестит оружие, падают звезды и возникает новый мир, в котором нельзя ни от кого что-либо таить.

Не менее эсхатологичны рассуждения Ларисы Рейснер о Германии, в которой революция потерпела поражение, где сделки людей с совестью, готовность терпеть голод, лишь бы не расставаться с несгораемым шкафом своих иллюзий, предвещают самое худшее. Здесь исторический суд уже совершается; но тот крах институций, который для символистов был чаянием Третьего завета, нового неба и новой земли, оказывается просто прикрытием косности: профсоюзы не работают, армия выбилась из сил, рабочие не способны организовать даже митинг – но это просто победа вредной мечтательности (на языке аскетики мы бы сказали – «прелести»). Гладкий, бритый скептицизм вместо действия, ожидание, что революцию сделают соседи, – это и есть мерзость запустения, с которой непонятно как поступать, кроме как засвидетельствовать о ней.

Оригинальная концепция восстания декабристов – по сути, применение созданной еще символистами оптики к анализу революционной ситуации. Лариса Рейснер никак не могла свести историю к противостоянию аристократической фронды и двора и ограничиться тем, что у вождей восстания не было народной поддержки. Напротив, по мнению Рейснер, дубина народного гнева обозначилась и в декабре 1825 года: множество люмпен-пролетариев обеих столиц могли бы присоединиться к восстанию, общество бурлило от всеобщего недоверия, а для любого местного бунта требовался малый повод, нужно было лишь соединить их в одну гирлянду. Заметим, что прежняя русская литература так и не смогла рассказать о восстании: и Пушкин, и Лев Толстой задумывали художественный анализ истории декабристов как то, что выведет литературу непосредственно в современность, превратит ее из книжности в непосредственное событие живого дня. Герои «Евгения Онегина» и «Войны и мира» должны были оказаться близки центральным событиям неудавшегося восстания, но литературные условности эпохи не позволяли говорить, как герои делают собственный внутренний выбор, а не просто оказываются перед лицом испытаний, к которым не готовы. В то же время очерки Ларисы Рейснер о декабристах при всей их почти телеграфной сжатости – настоящее решение задачи со многими неизвестными.

Итак, по мнению автора, неизменному практику революции, самым печальным в ту эпоху была сдача позиций Южным обществом в пользу Северного. На место решительных людей, готовых вести полки на штурм, прорывать оборону, пришли лукавые политики, для которых люди – средства, цареубийство и цареубийца – лишь клеточки на большой карте скудного воображения, которые играют в политику как в карты или бильярд. По-настоящему мрачной фигурой предстает князь С. П. Трубецкой – мастер компромиссов, напрочь не понимающий, почему революция может воодушевлять, признающий только вычитанные из книг тактики, вроде выжидательной; он и сгубил революцию: каре солдат никуда не двинулось и никто к нему не присоединился. Трубецкой для Ларисы Рейснер, при всех несомненных убеждениях заговорщика, предвестник николаевской эпохи, веры в бюрократию и заемные технологии, с недоверием тому, чем только и живут люди, от высших офицеров до последнего мастерового. Ведь зачем делать революцию, если она просто перераспределит полномочия, не подружив со свободой даже тех людей, которые за день до этого не догадывались о возможности такой дружбы?

Настоящую революцию Лариса Рейснер видела «в преемственности, в этом постоянном и длительном нарастании» усилий, не позволяющих чьему-то частному суеверию, даже имеющему самый благополучный и рациональный вид, победить подлинную открытость событиям. Чрезмерная поспешность приводит к «озлобленной самокритике», мечтательность даже самого искреннего рабочего – к неумению копить силы из-за привычки их тратить, причем

тратить больше на эмоции, чем на действительную работу. Поэтому авангардная мысль Ларисы Рейснер – прежде всего мысль о том, как научить пролетариат не слишком торопливому действию, чтобы он не принял свою раздробленность, свою вовлеченность в уже существующие структуры, от профсоюзов до торговли, за невозможность поменять что-либо в жизни.

Допустить такой скепсис – легализовать всеобщую конфискацию: буржуазный мир для Ларисы Рейснер страшен не только жестокой эксплуатацией, но возможностью конфисковать все, включая мечту и жизнь; сказать, что отныне и навсегда все диктуется только несколькими бумагами. Революция тогда – умение не уступить талант, как не уступают тело: как тело не должно быть в тюрьме и подвале, так и талант не должен быть в плену старых штампов, временного вдохновения, порыва, который ни к чему не приводит. Об этом заявляет нам и литературная критика Рейснер: даже наивное желание сельского корреспондента во всем найти хорошее она называет социальной язвой, именно потому что в этом плену благополучных образов нет той жизненной силы, которая создает водопровод и радио, но также и счастье и бессмертие. Неуклюжие газеты пока так же плохи, как и разбитые дороги, и эта неуклюжесть – прежде всего в неумении работать с новостями, в отношении к ним как к материалу, а не совестливой вести. Конечно, газета должна стать новым Евангелием, буквально «благой вестью», вдруг показывающей, что честность возможна не меньше, чем возможно будущее.

Читая в наши дни великую деятельницу русской революции, можно вспоминать о ней многое: поездки с Троцким и установку художественных инсталляций; сохранение памятников старины и готовность создавать женское движение на Востоке; оборону Свияжска и разведку в белой Казани; большой поэтический талант и гениальность в дружбе и любви. Но что бы мы ни вспомнили, – оно будет как будто для нашего времени, времени новых кризисов и вызовов. Помещать Ларису Рейснер в любой пантеон великих женщин будет безвкусицей, а перечитывать ее – школой не только честной политики, но и безупречного вкуса.

*Александр Марков, профессор РГГУ*

## Фронт

В Москве есть большие, грязные, обширные здания, в которых учатся тысячи солдатских, рабочих и крестьянских детенышей. Им скверно живется в переполненных общежитиях, и воздух их аудиторий гуще, зловоннее, сырее воздуха, которым дышало старое студенчество, шагавшее по бесконечному и солнечному коридору Петербургского университета, – эти новые люди, которые – «левой», «левой», «левой» – в несколько курьерски быстрых лет должны одолеть всю старую буржуазную культуру, и не только одолеть, но и переплавить ее лучшие, нужнейшие элементы в новые идеологические формы, эти новые люди рабфака – завтрашние судьи, наследники и продолжатели этого десятилетия.

Революция бешено изнашивает своих профессиональных работников... Еще немного лет, и из штурмовых колонн, провозглашавших социальную революцию в Октябре великого года, дравшихся под Петербургом и Казанью, под Ярославлем, Варшавой, на Перекопе и в Прикаспийской пустыне, в Сибири и на Урале, под Архангельском и на Дальнем Востоке, не останется почти никого... И новую пролетарскую культуру, наше пышное Возрождение будут делать не солдаты и полководцы революции, не ее защитники и герои, а совсем новые, совсем молодые, которые сейчас, сидя в грязных, спертых аудиториях рабфаков, переваривают науку, продают последние штаны и всей своей пролетарской кожей всасывают Маркса, Ильича...

Это буйный, непримиримый народец материалистов. Из своей жизни, из своего мирозерцания он со спокойным мужеством выкинул все закономерности и красоты, все сладости и мистические утешения буржуазной науки, эстетики, искусства и мистики. Скажите рабфакам «красота», и они – свищут, как будто их покрыли матом. От «творчества» и «чувства» – ломают стулья и уходят из зала. Правильно.

Но, освистывая и осмеивая буржуазный сантимент, вы, молодые, вы, пролетарские дети, не попадитесь в старую буржуазную ловушку, отлично пережившую эти годы и защелкавшую старыми пружинами. Если нет для вас буржуазно-индивидуалистических любвей, порывов и вдохновений, то есть Бессмертные этих только что отпылавших, в тифозной и голодной горячке отбредивших лет.

Это эстеты из «Аполлона», это утонченные знатоки и любители российской словесности безглаголиво морщились от величавой и голой бабы Венеры. Они же зажимают нос от революции. Говорить такие пошлые, первобытные слова, как – «героизм» – «братство народов» – «самоотвержение» – «убит на посту»! Ах, да не только говорить, но и делать все эти грубо-прекрасные вещи, от которых у человека с хорошо воспитанным вкусом сосание под ложечкой начинается! Вот примеры: стайка кораблей, несколько десятков обшитых в железо барж и буксиров, двадцать тысяч кронштадтской и черноморской матросни, составляющей ее команды. Чтобы драться три года, чтобы с огнем пройти тысячи верст от Балтики до персидской границы, чтобы жрать хлеб с соломой, умирать, гнить и трястись в лихорадке на грязных койках, в нищих вошных госпиталях; чтобы победить, наконец победить, сильнее своего, втрое сильнее своего противника, при помощи расстрелянных пушек, аэропланов, которые каждый день валились и разбивались вдребезги из-за скверного бензина, и еще получая из тыла голые, голодные, злые письма... Надо было иметь порывы, – как вы думаете? Надо было изобрести слова, которые побеждают прирожденную, неизбежную трусость мяса, своей крови, своей тонкой человеческой кожи, которую легко проткнуть любым ржавым гвоздем?

Красная вода так легко вытекает, и все кончено. Надо было видеть за кровью и грязью, за томительными столами Соцобеза, который даже вот резиновой не даст за свою, оторванную, который по приемным и прихожим измает бабу, если завтра его, матроса миноносца «Карл Либкнехт», имеющего красное знамя, разольет и размажет в кашу на грохнувшей под снарядом

палубе. А умирать? Без поповского бога и черта, которые все вывелись от революции, без всей утешительной лжи. Только успеет сказать «мои сапоги – тебе» и перестает быть.

Что это, красота или нет, когда в упор из засады по кораблю бьет батарея, и командир с мостика кричит обезумевшим людям. Так кричит, что они свой живот отклеивают от палубы, встают и бегут к орудиям. «Приказываю вам именем Республики – кормовое, беглый огонь» – и кормовое стреляет.

И творчество тоже есть – наше, а не буржуазное. Вот, надо было подорвать несколько особенно сильных кораблей снабженного англичанами, великолепно вооруженного белого флота. И никому не ведомый инженер-коммунист Бржезинский изобретает гениальную вещь: под килем обыкновенной парусной шлюпки устраивает минный аппарат, вооружает таким образом целую серию парусников. Конечно, находятся люди, готовые взять на себя это отчаянное дело. Покушение не удастся только благодаря предательству мальчика-рыбака. Тов. Попов (очень старый коммунист) погиб. Больше не видали его длинного сюртука, светлых обмоток и белого веселого шпица – собаки, бегавшей за ним и в ЧК и в штаб флота, – погиб изумительно, под пыткой ничего не сказал. Революционная психология или нет?

Эту книгу посвящаю рабфакам. Пусть ругаются, пусть у них поперек горла застрянет иное еретическое слово.

- «Любили».
- «Прекрасно умер».
- «Психологизм».

Но пусть дочтут до конца о том, как это было, от Казани до Энзели. Как шумели победы, как кровью истекали поражения. На Волге, Каме и Каспийском море во время Великой русской революции. Всё.

*Автор*

## Казань

Город еще не взят, но поражение решено. Хлопают двери покидаемых комнат – везде на полах бумаги, брошенные, разрозненные вещи.

Нет хуже отступления. Изю всех углов появляются лица неприметных соседей, не бывшие в течение многих месяцев.

Какие-то пуговицы с потертым блеском, нечто похожее на кокарду, даже на орденскую ленточку, – но это все еще под спудом, в полумраке опустошенных бегством коридоров, не смеющих крикнуть свое трусливое и бешеное «ату его», «ату»! Перед крыльцом – смутный очерк батареи, пыльные, сжатые и злые лица, резкие окрики, – где-то по мостовой грохочут колеса, стучит конница. Готовится последнее сопротивление. Окна дребезжат от несущихся мимо грузовиков – их шумное бегство убивает последнюю надежду, от них страшно.

У дверей, на которых еще ненужно белеют вывески – «оперативное», «секретариат», – несколько женщин прощаются со своими близкими, а за ними по красным половикам наглые лакеи выметают революционный сор – летит пыль, царапают вызывающе щетки. Вот где горечь и грязь неудач – в лакейской метле, выкидывающей за дверь наши неостывшие следы.

Странное это чувство – идти вдоль незнакомых домов с крепко захлопнутыми дверями и окнами; знать, что там, в этой проклятой гостинице, будут драться до последней крайности.

Кто-то должен быть и будет убит, кто-то спасется, кого-то поймают. В такие минуты забываются все слова, все формулы, помогающие сохранить присутствие духа. Остается только острое, режущее горе – и под ним, едва просвечивая, смутное «во имя чего» нужно бежать или оставаться. Сморщенное, захлебываясь от слез, сердце повторяет: надо уходить спокойно, без паники, без унижительной торопливости.

Но когда снаряд шлепается сперва мимо – в болотистый лужок у Кремля, а потом в самый штаб, – где они, где последние, которые уйдут, – когда уже невозможно будет уйти, – все сдержки летят к черту, неудержимо тянет назад.

На мне навешаны бумаги, печати, еще что-то очень секретное, что велено унести и передать в первом штабе, который удастся встретить. Не оборачиваюсь на свист снарядов, которые все чаще ударяют в белый карниз «Сибирской гостиницы». Стараюсь не думать о лакеях, взметающих клубы пыли; о броневике и ужасной, размытой дороге, которой он пройдет – или не пройдет?

Рядом бежит семейство с детьми, шубами и самоварами; несколько впереди женщина тянет за веревку перепуганную козу. На руках висит младенец. Куда ни взглянешь, вдоль золотых осенних полей – поток бедноты, солдат, повозок, нагруженных домашним скарбом, все теми же шубами, одеялами и посудой. Помню, как много легче стало в этом живом потоке. Кто эти бегущие? коммунисты? Вряд ли. Уж баба с козой наверное не имеет партийного билета. При каждом выстреле, при каждой вспышке панического ужаса, встряхивающего толпу, она крестится на все колокольни. Она просто – народ, масса, спасающаяся от старых врагов. Целая Россия, схватив узел на плечи, по вязкой дороге пошла прочь от чехословацких освободителей.

За городом русло беглецов стало мелеть. Женщины, дети, подводы продолжали идти все прямо, не озираясь, не разбирая пути, гонимые могучим социальным инстинктом. Одиночки, шагающие под проливным дождем без пальто и без шляпы, некоторые с портфелем, судорожно зажатым под мышкой, свернули на боковые тропинки или прямо по липкой целине, спотыкаясь, падая, подымаясь опять, вышли ночью к отдаленным деревням.

Летний дождик превратился в ливень, поля почернели и стали нескончаемо тяжелыми. Набухшая синяя туча повисла над Казанью, теперь уже взятой. Орудийный гром притих, и в грозном небе бесшумно запылали зарева пожаров и далекие зарницы. Вороны скучной стаей потянулись в предместья.

Сколько мы шли и куда – не припомню. Все вспаханнами полями, по мокрой глине, задерживающей шаг, в сторону, как мы думали, Свяжска. Во время бегства, особенно в первые его часы, многое зависит от смутного чутья, заставляющего из трех деревень выбрать одну, из нескольких дорог – единственную. Все чувства заостряются – взгляд прохожего, силуэт дерева, лай собаки, – все принимает окраску опасности или спокойного «можно».

Впереди всех шагал с обнаженной головой, в намокшем, нелепо приличном пиджаке ответственный работник товарищ Б.

Этот ничего не понимал в тайных приметах нашей общей дороги – плохо видел, плохо соображал. Ему больше всего хотелось лечь и уснуть после судорожных последних ночей в городе. Вел нас маленький матрос. Своими немного кривыми ногами он крепко обхватывал комья глины, дождь не мешал видеть его единственному, весело синему глазу, и вообще с ним было спокойно. Пospорив с «Портфелем», который несся очертя голову, гонимый ветром и усталостью, он круто взял влево, заставил далеко, чуть не на десять верст обойти первое селение, за которым мы нашли светлевшее в темноте шоссе, и, уже не колеблясь, пришли по нему ко второй деревне. Наш командир скомандовал «швартоваться» и постучал в темную избу. Спали на полу, с восторгом отодрав от ног промокшие тяжелые сапоги. Сено, человеческая духота, лампада в углу. И в полусне, утишившем все отравленные мысли, – еще кусок теплого черного хлеба. Утром оказалось, что вся комната полна беженцев, но в этом никто не признавался. Начиналась травля, каждый защищался и прятался на свой риск. Наш «ответственный», или, как мы его звали, Портфель, с наивностью истого горожанина и интеллигента решил ступить свое непроницаемое инкогнито. Его шляпа с проломом куда-то вдруг исчезла и заменилась отчаянного вида кепкой, в которой Портфель сразу стал похож на каторжника.

Хозяином приюта оказался сельский учитель. Ему страшно хотелось взять тон победителя, но побежденных было так много и такого мрачного вида, что он ограничился одними нравоучениями. В общем, добрый был человек, всех накормил даром и честно показал дорогу на Свяжск. Даже до тропинки проводил, размахивая руками и горячась, – мы все-таки немного поспорили об Учредительном собрании. Эта учительская тропинка нас спасла: на большой дороге, которую\* выбрало большинство, уже ждали засады.

Свяжск – почему именно Свяжск? Название этой маленькой станции на берегу Волги, сыгравшей впоследствии такую крупную роль в обороне и обратном взятии Казани, ставшей горном, в котором выковалось ядро Красной Армии, возникло, было повторено, запомнилось как-то стихийно, в самый разгар отступления и паники.

Назначил ли штаб местом своего закрепления именно Свяжск, бросил ли это имя в бегущую толпу инстинкт самосохранения, но именно туда стремилась вся волна отступающих.

Гражданская война господствует на больших дорогах. Стоит свернуть на проселок, на тропинку, бегущую по теплым межам, душистым межам, – и опять мир, осень, прозрачная тишина последних летних дней. Идем босиком, сапоги и хлеб на палке через плечо. Матрос где-то подобрал пастушеский длинный кнут и так щелкает им за спиной Портфеля, что тот приседает и готов расплакаться. Нет, надо сознаться, не из храбрых был наш товарищ Б. В деревни мы почти не заходили – и то больше в сектантские: там и чище, и хозяева сочувствуют, и молоко густое, как в царстве небесном, и бабы свежи, как сотовый мед. Ни разу нас сектанты не подвели и не отпустили голодными.

На третий день, впрочем, чуть не попались. Портфель поранил как-то ногу, устал, заныл; два моих товарища моряка до того устали шагать по сухому, глотать пыль и вообще притворяться штатскими, что их объединенное скуление подействовало даже на благоразумие «Мишки» (имя нашего вожака). Он сдался, и после маленькой разведки мы залезли в первую встречную деревню. Сперва все шло хорошо: прохладное крылечко, яйца вкрутую, чай, огурцы и безразличный ко всему хозяин. И вдруг, только мы разблаженствовались, – вынырнул откуда-то господин в синей суконной поддевке, красном кушаке, с бородой «а-ля рюс» – нечто вроде

урядника на покое или воинствующего помещика. Наш хозяин только глянул на него боком и стал еще серее и молчаливее. А тот все бегаёт любопытными глазками от Портфеля к его портфелю, от Мишки, покойно пьющего чай, к очень благопристойно и даже благожелательно настроенным морякам. И начался у нас самый невинный, самый тихий разговор.

«Вы из Казани, беженцы?»

Отвечает за всех предводитель: «Нет, дачники. Ищем домик с хорошим видом на реку и вообще с удобствами. Не порекомендуете ли?» У нашего «старшего» рожа небритая и зверская – он чистокровный южанин, черный, веселый и отчаянный.

Поддевка хихикает: «Ну, господа, не притворяйтесь! Выгнали вас из Казани, здорово выгнали? Вот товарищ даже портфель захватил второпях; да вы, верно, из наших?» – и подмигивает глазом – шариком масла.

Мишка делает вольт. Начинает расписывать подкрепления, полученные Красной Армией: «Помилуйте, двадцатидюймовые орудия из Кронштадта, бомбы, начиненные лунином, – через два-три дня...» – и вдруг пристально глянул на хозяина, повернул голову куда-то в сторону, к открытой степи. Очень далеко маячат тени верховых, как черные иголки их пики. Поддевка всполошился, но тут Миша так весело опустил руку в карман, а все мы (Портфель, конечно, впереди) так быстро смылись через сад в ближнее поле, что ему не пришлось ничего сделать.

Весь остаток дня проспали в золотых душных снопах, недалеко от дороги. Несколько раз проезжали мимо казаки, и тогда тов. Иподи будил Портфеля, чтобы тот не храпел слишком громко.

Какая-то деревня – в темную, бурную ночь. Бесконечные, в полнеба, зарницы, скрип повозок, тревожное ржание лошадей.

Бегающие ручные фонарики во мраке. Измученные, сбившиеся с пути, мы подходим к обозу за несколько минут до его ухода. Куда – в Свияжск. Застаем часть штаба, уцелевшую воинскую часть, работников из Политотдела. Нас узнают. Кто-то подошел, посмотрел на нас беглым светом фонаря, и трудно-трудно, точно во рту песок или вата, спрашиваю его: «Раскольников с вами?» – «Нет». Быстро опускает фонарь, прячет в темноту выражение своего лица.

Всю ночь повозки тянутся по размытой дороге, под ливнем, при непрерывных вспышках голубого огня. Кто-нибудь застрял, приказание передается от возницы к вознице, весь поезд останавливается. Бегут фонарики, слышно тяжелое дыхание лошади, увязшей в вязком болоте, шлепанье шагов, и опять двигаемся дальше. Хлещет дождь, от ветра скрипит глухой сосновый лес, и при каждом пылании зарниц видно крестьянина, поддерживающего дымный, трепещущий от усталости бок своей лошади, и чье-нибудь белое сонное лицо, мокрое от грозы. И оно тухнет.

Не стоит описывать подробно утро следующего дня: оно как и все дни отступления. Случайный сон под стогом отсырелого сена, боль в стертых ногах, неугомонные шуточки солдат, особенно когда они острят, сидя на задке походной кухни – место отдыха, занимаемое всеми по очереди. Прямая, сосредоточенно шагающая, молчаливая жена товарища Шеймана. Не видит, не слышит, ни с кем не говорит. Голова в белом платочке, не оборачиваясь, плывет на фоне мертвых осенних полей. Она еще не знает наверное, жив или убит, но предчувствие сильнее с каждой минутой – видно, как оно овладевает ею все крепче и жесточе. Чужим делается тяжело от ее затаенной, проклятой уверенности. Наконец – Волга, переправа, станция, сон на полу холодной, продувной теплушки. Еще сутки, потерянные на мокрых пустых дорогах. Утром – толчок, скрип колес, долгожданное, милое дергание – и через час мы в настоящем Свияжске. И в Свияжске их нет. В комендатуре толчея, разговоры, расспросы...

И вдруг какой-то лихой комендант озлобленно плюет на открытую рану. «Ну ваш-то наверное цел – напрасно беспокоитесь. До Парижа успел добежать». Через минуту он стоит,

облитый горячим чаем, красный, удивленный и злой, но это ничего не меняет. Все окрашивается в черный цвет, во всяком вопросе чудится обидный намек. Наконец приходит телеграмма, что Ф. Ф. взят в плен белогвардейцами. Мелькает еще раз каменное бескровное лицо Шейман. Ее муж действительно убит.

Тут мы с Мишей и решаем идти обратно в Казань. Товарищ Бакинский пишет на крохотной папиросной бумаге пропуск через все наши линии. И, лукаво подмигнув голубым глазом: «Пойдете, – говорит, – к командиру Латышского полка, он вам, наверное, даст двух лошадей до передовой линии. А оттуда уж пойдете пешком...» И правда, латыши помогли... Помогла и маленькая ложь: пришлось сочинить, что Раскольников тоже латыш, не совсем, но по матери. Достали мне шинель, штаны, сапоги, вывели кавалеристы двух лошадей, но, боже мой, как на нее сесть, на эту буйную тварь? Справа или слева, – и что делать потом с ногами, к которым не без умысла привинчены гр омаднейшие шпоры? Поехали шагом – ничего. Потом рысью – мучение и страх. А проехать надо все сорок верст.

В первый же день знакомства с рыжим «Красавчиком» началась наша с ним нежная дружба, длившаяся три года. Далеко за Волгой, у самого полотна железной дороги, на опушке, конь вдруг заволновался. Я его – хлыстом, а у него дрожат нервные уши, блестит скошенный на меня, горячий глаз – и ни с места. Сопровождающие кавалеристы тоже остановились и смеются. И вдруг перед самым нашим носом один за другим три столба, три пыльных и красных грохота, три смерти. Пришлось свернуть в лес.

Много тут было пораненных деревьев – и с каким-то ломающим, продирающимся визгом падали снаряды в этой чаще.

Деревья стоят тихо, как приговоренные, – удивительно тихо и прямо. И так же тихо лежат люди на маленькой поляне, среди рыжих пахучих сосен. Солдаты и два командира возле своей притихшей, притаившейся батареи. Они как раз обедали. В мягкой от жара траве дымились суповые чашки, из них хлебали по два-три человека вместе. Почему-то шепотом, точно боясь выдать свою прогалину, опросили нас, проверили документы, потом предложили вместе пообедать. Смешно пахло от этого их супа: крутой разбухшей в кипятке, одутловатой бледно-зеленой капустой и лесной земляникой, которая повсюду краснела среди тонких, сухих трав – копий. В затишье, когда где-то там, за лесом, потный, черный и оглохший артиллерист при помощи нескольких чисел и своего мудрого звериного инстинкта отыскивал наше смутно-чаемое убежище, – в минуту перерыва, когда прикованные к месту сосны переводили дух, где-то рядом начинала нерешительно пощелкивать лесная птица, вернее всего – синичка. Щелкнет, щелкнет, помолчит. Солдаты перестают есть и внимательно слушают. Один подобрал на ложку занятого суетливого муравья и в застывшем, тяжелом внимании наблюдает его беготню. И всем нам легче, когда над головой опять провозит невидимый снаряд и в чаще затрещит и брызнет белыми, смолистыми щепами пораженная сосна. Не нашли, мимо, и все ложки опять в щах.

Опять мы едем замороженным, мертвым лесом, пока на опушке не начинают попадаться большие пустые дачи. За дачами Полотно – какое-то странное. Стоят отдельные вагоны, по два, по одному, на больших расстояниях друг от друга. Кажется, что они играют в «колдуна». Стоит отвернуться, и они подбегут ближе; взглянешь – опять остановятся в своих застигнутых врасплох нелепых позах. Кое-где мертвые лошади, и на все это пустое, обрыдлое место от времени до времени шлепают снаряды. Штаб совсем рядом, в ближайшей от станции даче. Что-то через час после нашего ухода и в него попала далекая, косноязычная, за несколько верст отыскивающая батарея. Был убит один из лучших наших командиров, товарищ Юдин. Но тогда он еще был жив, сам нас принял, и в последних часах его повышенно пульсирующей жизни, напряженной, как налитая и готовая лопнуть вена, мы заняли несколько быстрых, острых, громко отщелканных минут. Посмотрел документы, оставил их перед собой на столе, велел накормить и дать постель. И пока мы отдыхали и пили чай, в соседней комнате (через дачную стену все

слышно) телефон вызвал Свияжск, Реввоенсовет. «Вы знаете такую-то, Лейзнер... да, Лейзнер? Давали пропуск? Да? Хорошо. А мы думали... Ну, ну, будьте здоровы».

Человек, по какому-нибудь делу попавший в банк, всегда начинает себя чувствовать вором. Решетки, несгораемые кассы, всеведущие счетные книги, самое безупречное сияние паркета – вся эта оградительно-щелкающая замками вежливость предполагает в каждом посетителе взломщика и мошенника. И на минуту, когда телефон спрашивал Свияжск о некоей Р., я вдруг почувствовала, что мое поведение должно казаться страшно неправдоподобным, наружность – подозрительной. Черт возьми, а голос? Я сказала громко: «Иду в Казань по секретному делу». До чего чужой, лживый голос. Ну, ясно – шпионка.

Уже в сумерки товарищ Юдин зашел к нам в комнату. Его лица почти не было видно, но вся фигура – шершавые большие галифе, шпоры, руки, спокойно засунутые в карманы, показались дружественными. И, расспросив еще немного, куда мы и как, посоветовал сейчас же идти дальше, раз уж решились на такую отчаянную глупость. «Ну, прощайте, надеюсь, увидимся». И крепко пожал руку, подумав про себя, что мы-то вряд ли выйдем живыми из этого леса. Смерть, стоявшая за его спиной, цинично улыбнулась в темноту.

Уныло оглядывая свои исполинские сапоги и брюки, я заметила, что и красноармеец-хохол, приносивший чай, заинтересован ими не меньше меня. «Товарищ мадам, давай-ка поменяемся, ты мне мундир, а я тебе настоящую дамскую одежду – с оборками и перами». И принес откуда-то с чердака шикарный парижский корсет, камергерские брюки и, на мое счастье, темный дамский костюм. Камергерское золото вскоре заблестало на поджаром заде мальчишки-рассыльного, один из красноармейцев примерил розовый корсет, а мы с Мишей вышли из маскарада настолько приличными буржуями, что первый же передовой пост нас снова арестовал, несмотря на все пароли, бумажки и пропуска. Бешеный Иподи Миша под конвоем отправился обратно в штаб, и, пока он вернулся, окончательно стемнело. На прощанье часовой дал добрый совет – как можно дальше уйти от железнодорожного полотна и пробираться лесом. «А тут, – в темноте неприятно яснили рельсы, – вас мигом хлопнут».

Несколько часов тихой лесной дороги. Встретили двух разведчиков-кавалеристов. В темноте они испугались нас, а мы их.

Немного поговорили, согрелись о человеческий разговор – и дальше.

Лес ополаскивает усталость, как большое черное озеро – измученные ходьбой ноги. Помню еще звезды, страх темноты, страх быть без дома, без постели, без завтра. Вообще неприятное чувство горожан, отвыкших от большой дороги. На какой-то тропинке, в какой-то деревне, возле какого-то дома, отчаянные женские крики: в бане, на полу, молодая киргизка третьи сутки рожала и никак не могла родить.

Стук двери, новые лица, прикосновение незнакомых рук, вероятно, помогли ее нервам, ее желанию жить – страшной судорогой она выкинула ребенка. И сразу почти успокоившись, держа меня за руку, бормотала среди своих мокрых от пота волос какие-то картавые, засыпающие слова. Так и уснула, не разжимая своих сухих и горячих, как у птицы, пальцев.

Одним словом, на крестины киргизенка ушла нижняя юбка, а в шелковом носовом платке поехал в церковь младенец и какие-то, на всякий случай прихваченные, языческие божества. От посещения церкви мы воздержались. Поп, терпимый к старому Яриле, мог учуять более опасную бесовскую силу в новоявленных крестных.

После крестин счастливый отец предложил в знак благодарности провезти нас на собственной лошади в Казань.

– Уж я вижу, вы люди хорошие, порядочные. Не первый день живу на свете, слава богу, понимаю, кто к кому относится.

– А если нас остановят, что вы скажете?

– Скажу, что дачники, домой едут господа. Меня ведь знают, поверят.

И правда, теплым росистым утром телега киргиза повезла нас тихими проселочными дорогами. Колеи, заросшие яркой лесной травой, стук дятлов, запах смолы и земляники. И от времени до времени, спотыкаясь о чистый утренний воздух, визгливые кегельные шары над головой. Через лес бьет тяжелая артиллерия.

Русская провинция вообще ободрана, безобразна и скучна. Все ее города и городишки похожи друг на друга, как черствые калачи. Но среди них все-таки особенным уродством блещет Казань. Единственное, что в ней вообще имеет стиль и архитектурный характер, – это башня Сумбеки. Остальное, по сравнению с этим чисто татарским памятником, носит более чем монгольский характер. Арбузы, пыль, дощатые заборы, дома, в которых нет ничего, кроме вывесок и витрин. И мостовая из каменных желваков, мозолей, гранитных флюсов...

Ни один патруль не остановил нашу телегу, и в Адмиралтейскую слободу мы въехали, едва веря своей удаче, хотя непреложное уродство улиц и домов со всех сторон спешило нас уверить, что это уже не сон, а сама кривобокая, скуластая, охваченная белогвардейским бредом Казань.

– А куда же вы нас везете, кум, у кого устроите?

Киргиз обернул веселое, лукаво улыбающееся лицо:

– Вам ведь надо, где поспокойнее. Так уж лучше не найдете – к приставу слободскому вас отвезу. Человек свой, то есть надежный и положительный. Мы с ним старые друзья. – И радостно щелкнул вожжами по круглой спине лошади.

Мы с Мишей только переглянулись. Угодил нам кум, нечего сказать. Пристав!

Телега въехала в пыльную широкую слободскую улицу. Деревянный тротуар, во всех его щелях простодушная трава; одноэтажные деревянные домики, ворота с петухами и скрипом, зеленые и белые, всегда сонные ставни. Словом, сплошная голубизна купеческого неба, облачка, как пар от послеобеденного самовара, городок Окуров в шелковых, ярких и жирных красках Кустодиева. Догадливый кум остановил повозку перед самым нарядным и сдобным домиком, поцеловался с нами на прощанье и отечественно сдал на руки вышедшему на крыльцо куму – приставу.

Собственно, мы с Мишей сразу попали в «театр для себя». В верхних комнатах приставского дома, на чисто вымытых, натертых воском и усталых половицками полах, разыгрывалась с виду вовсе безобидная мещанская комедия в постановке художественного театра, с геранями на окнах, с иконами в углу и с фотографиями местного окружного суда над письменным столом. Среди старинных сюртуков, высоких и тугих воротничков легко было узнать выпученные глаза, скулы и плоский, засиженный мухами лоб нашего хозяина. Как и полагается, у неторопливого, негромкого, равномерно наседающего на людей пристава была сухая, с облизанным злым черепом, скрипучая жена. Дочь их, Паша, розовая, полная, «вся в лапках и глазках, глазках и лапках», проводила время, положив на низкий подоконник свою пышную грудь и сплевывая семечки на редких прохожих. Как беззаботная наследница, она в политику не вмешивалась и только в разгар острых, истерических, грубых скандалов, затеваемых ее матерью с жильцами нижнего этажа, недовольно морщила розовую пуговку и говорила: «Мамаша, какая вы необразованная, нельзя же так громко». Внизу, под приставом, его воцеленным полом и геранями жили, снимая углы, несколько рабочих с семьями. Революция на время прервала простые и ясные отношения, существовавшие между нижним и верхними этажами. И даже Пашино приданое грозило остаться неполным. Приставские корешки, равномерно, благодушно и даже патриархально тянувшие живой сок из подвала, вдруг остались без пищи и даже ощутили там, в углах, несколько явных укусов и повреждений. Дошло до того, что один из жильцов, рабочий, реквизирует для своих детей пушистую и белую приставскую козу.

Но затем, в июле, бог вмешался в грязные человеческие дела. Справедливость и суд, выскочив из рамки, потрясли мертвыми листьями законов, и пышная Пашенька несколько не встревожилась и не удивилась, когда мимо нее провели по улице буйного жильца, который

больше никогда уже не возвращался. Тут все вошло в норму, и по мере того как новая власть на телегах свозила к Волге голые трупы рабочих, на домик пристава слетали идиллические тени. С мирным и счастливым чавканьем все семейство принялось сосать свой притихший подвал, где боялись плакать и шуметь. В это-то время, когда суд божий, а также и чехословацкий, находился в полном разгаре, мы и поселились у пристава. Сперва он несколько стеснялся, как еж, которому неудобно кушать живую лягушку среди белого дня, да еще по старой ежовой привычке начиная это лакомое блюдо с дрыгающих задних лапок. Но затем, попивши с гостями чаю, поругав жидов и коммунистов, убедился в нашей политической благонадежности и совершенно успокоился. Растягивая удовольствие, не чаще чем один раз в три дня, он ехал в город, причем вся улица и «подвальные» отлично знали, что «сам» опять отправился в штаб с доносом на кого-нибудь из них. Вечером полиция чинно забирала очередного жильца; наверху пили чай, мамаша чутко прислушивалась к возне внизу, папаша невинно, бесконечно долго и радостно толковал о том, что ему и самому жаль, но как христианин и офицер он не имеет права укрывать и пр. Если бы пристав мог видеть черный яд, который его рассуждения разливали по нашим нервам.

Папа, вся в розовом ситце и душой в безоблачном небе, где порхают бумажные голубки и незабудки, тихонько наливала шестую чашку чая соседу-учителю, которого в подвале звали просто «жених», вкладывая в это евангельское имя невыразимую ненависть к его дрянной бороденке, очкам и вообще интеллигентности. И когда внизу начинался долго сдерживаемый вой, мамаша смеялась, как масло на сковородке, папаша величественно изумлялся поверх очков и листа «Нового времени» за 1911 год. Папа немного морщилась, и учитель нежно объяснял ей, что такое значит Учредительное собрание.

На следующее утро Миша, взяв деньги и бумаги, ушел в город на разведку. Пристав отправился в обход отыскивать и отнимать оружие у рабочих, мамаша опустилась в сладчайший ад, в подвал, снимать пену с горького и едкого горя, как с молока, свернувшегося в гнилой темноте этого дома. Папа уселась за роман с неизбежным Раулем, я за газету, в которой среди имен казненных не было упомянуто единственного имени, меня интересовавшего. Таким образом, все обитатели приставского дома занялись своими делами, довольно разнородными.

Толстые черные мухи жужжали на стекле, все потихоньку погружалось в дремоту. Однако часам к двум глухие раскаты, звучавшие накануне очень отдаленно, значительно придвинулись к городу. В купеческом сатиновом небе стали вспыхивать и рассыпаться молочными плерезами дымки шрапнелей. Безлюдная наша улица опустела окончательно, обычный ее сон сгустился до грозовой тишины. Внизу уже не плакали и не шептались: там ждали. Пристав вернулся домой взволнованный, и как раз за обедом, когда он только что пустился в подробное описание обыска, над самой его крышей треснул первый железный орех. Семейство испугалось, но затем непобедимое словоизвержение превратило разрыв снаряда в простую случайность. Все прижатые было страхом чертополохи опять оправились и высоко подняли свои колючие шишки. Я, как «жена офицера», должна была еще раз успокоить своих собеседников насчет полной несостоятельности Красной Армии:

– Конечно, разве это войска? Банда, сброд, шайка, которая побежит от одного выстрела.

– Сударыня, совершенно верно!

Бац! В это время над нашей головой снова разорвался снаряд. У меня сердце задрожало от сумасшедшего пляса красных веселых чертей, а пристав, оставив высшие стратегические рассуждения до другого раза, надел на себя вторую пару теплых брюк и со всеми домочадцами спрятался в баню. Вот тут-то мы и познакомились с подвальными соседями.

Я их застала на верхней ступеньке лестницы. Приподняв голову над низким порогом, женщины и дети с каким-то одеревеневшим ожиданием посматривали то в небо на кудрявые разрывы, то на дверь бани, из-за которой тревожно блеяла запертая коза. Поняли мы друг друга

с полуслова. Жена последнего, только этой ночью арестованного рабочего подвинулась ближе, шепотом спросила фамилию и, подумав:

– Нет, этот убежал, в газетах писали, что убежал, зря вы пришли сюда.

Поправила ребенка, который никак не мог поймать ртом широкий и коричневый сосок ее худой груди, и опять стала молча слушать артиллерийские раскаты.

– А как думаете, моего уже расстреляли? Если сегодня войдут красные – ослобонят или уже поздно? – И, не ожидая ответа (ответ уже был в ней самой, плоский, деревянный, темный, как потолок подвала), погрузилась в симфонию наступления, от которой дрожал весь дом.

Сперва громы в се приближались. Они разражались долгими залпами, уверенно покрывая более мелкие и частые волны ответного огня. Потом откуда-то с другого берега вступили новые, отрывающиеся железо, железные глотки. Сперва они били как бы наугад, потом с ужасающей правильностью. Свои или чужие? Увы, мы слышали только специфический гром залпа, в котором нельзя ошибиться. Разрывы их приходились не на Казань, значит... значит, над нашими. Еще около часу бушевала гроза в голубом солнечном небе – потом как будто отодвинулась. Все реже и реже рвались над городом снаряды, потом затихли совсем. И только издали, уже не уходя, по и не приближаясь, как черта бурунов, пенилась далекая стрельба. Час, два, а может быть, и дольше, пролежала моя соседка, положив голову на порог, не шевелясь, не говоря ни слова. Теперь она подняла лицо. На нем были следы слез, размазанная грязь и наше поражение. Взяв со ступенек уснувшего ребенка, каменная, прямая, она спустилась обратно в подвал.

Нужно ли говорить, что два слова на ухо приставу могли спасти эти семьи от белого террора и что никто из семнадцати подвальных жителей не пожелал воспользоваться этим средством.

Ни вечером, ни утром следующего дня не вернулся мой спутник. Я осталась одна, без денег и без документов.

Пристав заволновался, но затем решил, что моего «мужа» как офицера-добровольца могли просто мобилизовать в штабе, куда он явился, – и посоветовал съездить в город, навести справки.

Знакомые улицы, знакомые дома, и все-таки их трудно узнать. Точно десять лет прошло со дня нашего отступления. Все другое и по-другому. Офицеры, гимназисты, барышни из интеллигентных семейств в косынках сестер милосердия, открытые магазины и разухабистая, почти истерическая яркость кафе – словом, вся та минутная и мишурная сыпь, которая мгновенно выступает на теле убитой революции.

В предместье трамвай остановился, чтобы пропустить подводу, груженную все теми же голыми, торчащими, как дерево, трупами расстрелянных рабочих. Она медленно, с грохотом, тащилась вдоль забора, обклеенного плакатами: «Вся власть Учредительному собранию». Вероятно, люди, наклеившие это конституционное вранье, не думали, что их картинки станут частью такого циничного, общепонятного революционного плаката.

Белый штаб помешался на Грузинской улице. В общем, без особого труда удалось получить пропуск в канцелярию; мимо меня пробежали штабные офицеры, всего несколько дней тому назад служившие в Реввоенсовете. У всех дверей часовые – гимназисты, мальчики пятнадцати-шестнадцати лет. Вообще вся провинциальная интеллигенция востепенулась, бросилась в разлитое море суетливой деловитости, вооружилась и занялась государственными делами в масштабе любительского Красного Креста, любительского шпионажа и самопожертвования на алтарь отечества, декорированного лихими галифе, поручичьими шпорами и усами.

Боже, как хорош белый режим на третий день от своего сотворения! Как бойко стучат машинистки, какие милые, интеллигентные женские лица над ремингтонами. У дверей кабинета два лихача-солдата, вроде тех, что каменели в старину у царской ложи, и из этих дверей порою выплывает в свежей рубашке, в распахнутом кителе и душистых усах, о, какой если не

генерал, то вроде него – полковник или капитан, и как нежно, одухотворенно и скромно плавают на чиновничьей и военной поверхности жирные, хотя и редкие, пятна истинного просвещения; как кокетливо выглядывают из-за обшлага наши университетские значки.

О, alma mater, гнездилище российской казенной учености, и твой тусклый луч позлащает сии эполеты, аксельбанты и шпоры. В одно из посещений штаба мне даже довелось видеть в приемной поручика Иванова, этого Мадемуазель Фифи белогвардейской Казани, настоящего профессора, в крылатке, в скромной шляпе с мягкими полями, с теми пышными и чистыми сединами, какие после Тургенева носили все ученые-народолюбцы, кумиры «чуткой передовой молодежи», который вполголоса быстро-быстро сообщал лениво и пренебрежительно слушавшему его юнкеру всякие особые секреты по части неблагонадежных элементов, спрятавшихся в его квартале...

Дня два продолжались мои визиты на Грузинскую; от нескольких секретарей и дежурных удалось окончательно узнать список расстрелянных и бежавших друзей. Пора было подумать об обратном исходе.

Пристав, тщетно прождав моего без вести пропавшего «мужа», начал проявлять признаки беспокойства; денег не было ни гроша, и мои подвальные соседи настойчиво советовали уходить, пока не поздно. Да и жизнь в постоянной лжи, в ежедневном разговоре на тему о жидах, коммунистах и грядущих победах святого православного оружия становилась невыносимой. Однажды утром я тихонько оделась, ощупала в кармане засохшую корку хлеба, в которой окаменел запрятанный в мякиш пропуск, и решила уйти из дому, чтобы уж не возвращаться в него никогда. Жена рабочего успела всунуть мне в руну трехрублевую бумажку. Но у ворот меня остановил пристав:

- Вы куда, сударыня, в такое раннее время?
- В штаб, сегодня обещали дать точную справку.
- Позвольте вас проводить, я помогу, окажу, так сказать, протекцию.
- Да не беспокойтесь, я отлично доеду сама...
- Какое тут беспокойство? Нет уж, разрешите старику поухаживать за дамой.

Как я ни отговаривалась, пристав стоял на своем, и мои слова прилипали к его сладкой настойчивости, как мухи к сахарной бумаге.

В штабе точно из-под земли вынырнул расторопный секретарь, а пока мы с ним проходили через общую залу, за спинами просителей и барышень, с любопытством провожавших нас глазами, блеснул уже белесый холодок штыка.

Кабинет поручика Иванова помещался наверху, в трех маленьких комнатах. Первая из них, приемная, была густо набита просителями, арестованными, родственниками всякого рода и часовыми. Пока мой почетный конвоир бегал докладывать Иванову, тому самому, который «за революцию» бил по пяткам казанских железнодорожных рабочих, я успела оглядеться.

И вот в двух шагах, лицом ко мне, группа знакомых матросов из нашей флотилии. Матросы, как все матросы восемнадцатого года, придавшие Великой русской революции ее романтический блеск. Сильные голые шеи, загорелые лица, фуражки «Андрея», «Севастополя» и просто «Красный флот». Боцман смотрит знакомыми глазами, пристально, так, что видно его голую душу, которая через двадцать минут станет к стенке, – его рослую душу, широкую в плечах, с крестиком, который болтается на сапожном шнурке, – не для бога, а так, на счастье.

Стучит, стучит пульс: секунда, две, три, не знаю сколько. И глаза, громко зовущие к себе на помощь, уже не смотрят. Они, как орудия в сырую погоду, покрылись чем-то серым. Стукнули приклады – матросов уводят. В дверях боцман осторожно оборачивается. «Ну, – говорят глаза, – прощай». Комната вертится, как сумасшедшая; откуда в ней этот блеск воды, блеск моря в ветреный день, с такой короткой, сердитой, серебряной рябью.

Зеленый стол, за ним три офицера. Конечно, этот слева и есть Иванов. Бледная лысая голова, до того белая, что кажется мягкой, как яйцо, сваренное вкрутую. Светлые глаза без бро-

вей, белый китель, белые чистенькие руки на столе. Второй – француз; его лица не помню. Так, нечто любопытно-брезгливое и бесконечно холодное. Смотрит кругом, стараясь все запомнить связно, так, чтобы потом можно было остроумно рассказать у себя дома. Третий – протокол. Перо, прямой пробор, заглавная буква вверху листа с размашистым, нафиксатуаренным хвостиком.

– Ваша фамилия? Возраст? Общественное положение?

На мои ответы Иванов улыбается широкой, почти добродушной улыбкой.

– А Раскольников вы знаете? – На моем лице отражается невинная и беззаботная веселость прокурора.

– Рас-коль-ни-ко-ва? Нет, а кто это?

– Один крупный прохвост.

– Господин поручик, нельзя же знать всех прохвостов, их так много. – Француз смотрит на нас, как на водевиль.

– Всех не всех, а одного вам все-таки придется вспомнить.

Я молчу.

И вдруг этот человек, только что выдержавший такие художественные паузы, жеманившийся, как сытый кот с ненужной ему мышью, подмигивавший офицеру-иностранцу на белье, снятое с меня во время предварительного обыска и аккуратно сложенное перед чернильницей Иванова, – вдруг этот изящный, небрежный, остроумный прокурор треснул кулаком по столу и заорал по-русски, вскочив с места от истерического бешенства: «Я тебе покажу, так твою мать, ты у меня запоешь, мерзавка». И грубо офицеру-иностранцу, имевшему бестактность засидеться на отеческом допросе: «Идите вниз, когда можно будет, позову». Француз прошел мимо легкими шагами, полоснув меня и своего коллегу и союзника презрительными, равнодушными, почти злорадными глазами.

И опять Иванов заговорил спокойно, со всей прежней мягкой, двусмысленной, неверной улыбкой: «Одну минуту, нам не обойтись без следователя».

В комнате было три двери. Направо та, через которую вышел Иванов; посредине – зимняя, заколоченная войлоком, запертая. И третья, крайняя слева, – в приемную. Возле нее – часовой.

Бывают в жизни минуты сказочного, безумного, божественного счастья. Вот в это серое утро, которое я видела через окно, перекрещенное безнадежным крестом решетки, случилось со мною чудо. Как только Иванов вышел, часовой, очевидно доведенный до полного одурения нервной игрой поручика, его захватывающими дух переходами от вкрадчивой и насмешливой учтивости к животному крику в упор, – часовой наполовину высунулся за дверь «прикурить». В комнате остались только растопыренные фалды его шинели и тяжелая деревянная нога винтовки. Сколько секунд он прикуривал? Я успела подбежать к заколоченной средней двери, дернуть ее несколько раз – из последних сил – она открылась, пропустила меня, бесшумно опять захлопнулась. Я оказалась на лестнице, успела снять бинт, которым было завязано лицо, и выбежать на улицу. У окна общей канцелярии, спиной ко мне, стоял пристав и в ожидании давил мух на стекле.

Мимо штаба неспешной рысцой проезжал извозчик. Он обернулся, когда я вскочила в пролетку.

– Вам куда?

Не могу ему ничего ответить. Хочу и никак не могу. Он посмотрел на мой полупрозрачный костюм, на лицо, на штаб, стал на облучке во весь рост и бешено хлестнул лошадь. С грохотом неслись мы по ужасной казанской мостовой, все задворками и переулками, пока сивка-бурка, вспотев до пены и задравверху редкий хвост, не влетела в ворота извозного двора. У моего извозчика сын служил в Красной Армии, а кроме того, он был мужем чудесной Авдотьи Марковны – белой, красной, в три обхвата, теплой, как печь, доброй, как красное солнце

деревенских платков и сказок. Она меня обняла, я ревела как поросенок на ее необъятной материнской груди, она тоже плакала и приговаривала особые нежные слова, теплые и утешные, как булочки только что с жару. Потом прикрыла мне голые плечи платком, и тут же на крыльце, выслушав всю историю с самого начала, таким матом покрыла яснейшего поручика Иванова, что пышные петухи, крепкой лапой разрывавшие теплые от солнца навозные кучи, загорланили от восторга.

– Идем, мать, чаек покушаем.

Через часа два, завернутая в платок с розанами, имея при себе фунт хлеба и три рубля деньгами, я уже выходила за казанскую заставу. Занятый осмотром проезжавшего воза, дозорный пост меня легко пропустил; мимо другого я пробралась кустами.

Попутчик-крестьянин, который согласился меня подвезти до первой деревни, еще раз милостиво даровал мне жизнь в этот счастливейший день моей жизни. Протрусив рысцой верст шесть, он сказал голосом, который был голосом моей подвальной соседки, и рыжебородого извозчика, и Авдотьи Марковны, и всей российской бедноты, которая в те дни первоначальной революционной неурядицы, поражений и отходов, безусловно, была на нашей стороне и нашу победу спасла так же просто и крепко, как меня, как тысячи других товарищей, разбросанных по ее большим дорогам:

– Ну, слезай, девка. Полно врать, я вижу, кто ты есть за птица, иди в село налево – там твои. А направо вон ходит облачко, будто черное; это чехи, кавалерия.

Пробежав полем версты две, я действительно встретила нашу передовую цепь. Один из красноармейцев, очевидно узнавший меня по штабу товарища Юдина, сел рядом на ком вспаханной земли и деликатно, делая вид, что не замечает моих расстроенных чувств, сказал, скручивая сигарку:

– Ну, что, нашла ты своего мужика?

## Казань – Сарапуль

### I

Ночные склянки, отбивающие часы на палубе миноносца, удивительно похожи на куранты Петропавловской крепости.

Но вместо Невы, величаво отдыхающей, вместо тусклого гранита и золотых шпилей, отчетливый звон осыпает необитаемые берега, чистые прихотливые воды Камы, островки затерянных деревень.

На мостике темно. Луна едва озаряет узкие, длинные, стремительные тела боевых судов. Поблескивают искры у труб, молочный дым склоняется к воде белесоватой гривой, и сами корабли, с их гордо приподнятым носом, кажутся среди диких просторов не последним словом культуры, но воинственными и неуловимыми морскими конями.

Редкое освещение: отдельные лица видны, и отчетливо видны, как днем. Бесшумны и так же отчетливы позы. Эпические, годами воспитанные и потому непринужденные, как в балете, движения комендора, снимающего тяжелый брезент с орудия одним взмахом, как срывают покрывало с заколдованной и страшной головы.

Пляшущие руки сигнальщика с его красными флажками, красноречивые и лаконичные, танцующие в ночном ветре условный, обрядовый танец приказаний и ответов.

И над сдержанной тревогой судов, готовящихся к бою, над отблеском раскаленной топки, спрятавшей свой дым и жар в глубине трюма, – высоко, выше мачты и мостика, среди слабо вздрагивающих рей, восходит зеленая утренняя звезда.

Давно пройден и остался за поворотом реки наш передовой пост, лодка под самым берегом, и командир Смоленского полка, Овчинников, спокойный, всегда неторопливый и твердый, отчетливый и немногословный – один из славной стаи Азинской 28-й дивизии, прошедшей с боем всю Россию, от холодной Камы до испепеленного желтыми ветрами Баку.

Где-то справа мелькнул и исчез лукавый огонек, – может быть, белые, а может быть, один из отрядов Кожевникова, шаривший в глубоком тылу у белых и иногда совершенно неожиданно вылезавший навстречу нашей «Межени» из непролазной чащи кустарника, запутавшего обрывистый камский берег.

При первых лучах рассвета необычайна красота этих берегов. Кама возле Сарапуля широкая, глубокая, течет среди желтых глинистых обрывов, двоятся между островов, несет на маслянисто-гладкой поверхности отражение пихт – и так она вольна и так спокойна. Бесшумные миноносцы не нарушают заколдованный покой реки.

На мелях сотни лебедей расстилают белые крылья, пронизанные поздним октябрьским солнцем. Мелкой дробной тучкой у самой воды несутся утки, и далеко над белой церковью парит и плавает орел. И хотя противоположный луговой берег занят неприятелем – ни одного выстрела не слышно из мелкорослых кустарников. Очевидно, нас не ждали в этих местах – и не успели приготовиться.

Из машинного люка до пояса выставляется закопченный и бледный моторист и, стирая с лица черноту и пот, с наслаждением вдыхает острый утренний воздух, за одну ночь ставший осенним и северным.

Лоцман на мостике, всклокоченный и крепкий, похожий в своих сединах и овчинном тулупе на лешего, пророчит ранний мороз.

«Снегом пахнет, воздух – снегом пахнет», – и опять молча отыскивает узкую дорогу кораблей среди предательской ряби отмелей, тумана и камней. За эту ночь пройдено больше ста верст, и вот вдали показался кружевной железнодорожный мост и белые макушки Сара-

пуля. Команда отдыхает, полощется возле крана, дразнит двух черных щенят, возвращенных с великой любовью среди пушечной пальбы и непрерывных походов.

Резкий крик наблюдателя:

– Люди на левом берегу, – и снова напряженное ожиданье. Но те, на берегу, уже разглядели нас, и в воздухе радостно пляшут красные полотнища. И дальше, на берегу, и на мосту, и за песчаным прикрытием вспархивают и трепещут красные флажки. Малые фигуры пехотинцев в серых шинелях бегут по берегу, машут, кричат и перебрасывают на железные палубы миноносцев какие-то благословляющие приветствия.

Прошли мост, повернули левее, а за последним судном, идущим в стройной кильватерной колонне, уже трещит ружейная перестрелка. Это белые обстреливают охрану моста, сбегавшуюся посмотреть на проход нашей флотилии.

В бинокль ясно видна набережная Сарапуля, занятого дивизией Азина, Сарапуля, со всех сторон обложенного белыми и наконец, благодаря приходу флотилии, соединенного с нижележащими армиями.

Подходим ближе. На крыше поплавка, на перилах, на дороге – красноармейцы, чуйки, платочки и бороды, и все это радостно изумленное, свое, дружеское. Оркестр на пригорке гремит марсельезу, барабан, заглядевшись на корабли, образует брешь в мелодии, труба несется далеко впереди рассерженного дирижера, радостно играя громовыми переливами и не останавливаясь ни на чем, как конь, сбросивший всадника. Уже приняты концы, борт плавно прикнулся к пристани, матросы высыпали на берег, и пошли разговоры:

– Как же вы прорвались? Побили их корабли?

– И побили, отец, и в реку Белую загнали.

– Врешь.

– Да не вру.

Через толпу пробивается молодая еще женщина, вся в слезах. «Матроска», – говорят окружающие. И начинаются новые причитания. Плач матери и жены, пронзительный однообразный вопль: «Моего увели на барже, на барже стащили. Матросом был, как вы». Платочек мечется от одного моряка к другому, слепнет от слез, гладит шершавые рукава бушлатов, это последнее свое воспоминание. Да, жестокая штука война, гражданская – ужасна. Сколько сознательного, интеллигентского, холодного зверства успели совершить отступающие враги.

Чистополь, Елабуга, Челны и Сарапуль – все эти местечки залиты кровью, скромные села вписаны в историю революции жгучими знаками. В одном месте сбрасывали в Каму жен и детей красноармейцев, и даже грудных пискунов не пощадили. В другом на дороге до сих пор алеют запекшиеся лужи, и вокруг них великолепный румянец осенних кленов кажется следом избиения.

Жены и дети этих убитых не бегут за границу, не пишут потом мемуаров о сожжении старинной усадьбы с ее Рембрандтами и книгохранилищами или о неистовствах Чеки. Никто никогда не узнает, никто не раструбит на всю чувствительную Европу о тысячах солдат, расстрелянных на высоком камском берегу, зарытых течением в илестые мели, прибитых к нежилому берегу. Разве был день – вспомните вы, бывшие на борту «Расторопного», «Прыткого» и «Ретивого», на батарее «Сережа», на «Ване-коммунисте», на всех наших, зашитых в железо, неуклюжих черепахах, – разве был хоть один день, когда мимо вашего борта не проходила эта молчаливая спина в шинели, этот солдатский затылок с такими редкими куцыми волосами (всё после тифа) и танцующей по воде рукой, то всплывающей, то опущенной ко дну. Разве было хоть одно местечко на Каме, где бы не выли от боли в час вашего прихода, где бы на берегу, среди счастливых и обезумевших, которые так неумело (рабочие ведь не моряки) принимали ваши «чалки», не было десятка осиротелых баб и грязных, слабых и голодных детей рабочих. Помните этот вой, которого не могло заглушить даже лязганье якорной цепи, даже яростный

стук сердца, даже красный от натуги голос предисполкома, который еще издали, за полверсты, кричал вам, что Самара взята Красной...

Между тем к первой женщине подошла вторая, совсем маленькая и старая. На ее лице те же шрамы горя. «Не плачь, расскажи толком». И мать рассказывает, но слова ее теряются в причитаниях, ничего нельзя понять.

А дело вот в чем: отступая, белые погрузили на баржу шестьсот человек наших и увезли – никто не знает куда, кажется, в Уфу, а может быть, и к Воткинскому заводу.

Через час пронзительная сирена собирает на пристань разошедшихся матросов, и командующий отдает новое приказание: флотилия идет вверх по реке на поиски баржи с заключенными. И, подгоняя команды, как-то особенно отчетливо повторяет: «Шестьсот человек, товарищи».

## II

Они нас не ждали: окопы, проволочные заграждения, пикеты, все это оказалось неприкрытым со стороны реки и, видно, как на блюде. Медленно скользя вдоль берега, миноносцы выбрали удобное место, и комендоры отыскивают цель. В кают-компании полуоткрыт люк в пороховой погреб, и оттуда быстро передают наверх снаряды. Раздается команда:

– Залп.

Из дула выплескивается огненная струя, с легким металлическим звоном падает пустая гильза, и через десять – пятнадцать секунд в бегущей цепи неприятеля подымается пепельно-серый и черный дымовой фонтан. Управляющий огнем изменяет прицел:

– Два больше, один лево. Залп.

Вот и на «Ретивом» открыли огонь, и «Прочный» из кормового орудия зажег церковь.

Пользуясь всеобщим смятением, мы засветло будем в Гальянах (тридцать пять верст выше Сарапуля).

Еще один переход в десять верст, и мы у цели. Красные флаги спущены, решено всех взять врасплох, выдавая флотилию за белогвардейскую – адмирала Старка, которую с таким нетерпением до сих пор поджидали себе на помощь ижевцы. Из-за островка и поворота Камы суда полным ходом появляются перед пристанями Гальян, проходят село, расположенное на горе, и выше его делают поворот, разворачиваются – маневр очень трудный на таком узком и мелком месте.

– Без приказаний не открывать огня, – передает сигнальщик с одного миноносца на другой.

Обстановка следующая: в двадцати – тридцати сажнях на берегу, возле церкви, ясно видно тяжелое шестидюймовое орудие. Дальше на пригорке много любопытных крестьян и среди них кучки вооруженных солдат. На колокольне второе орудие; быть может, пулемет. Под левым берегом баржа с десантом белогвардейцев. В кустах мелькают белые палатки лагеря, расстилается дымок походных кухонь, и, отдыхая, солдаты лежат на берегу, с любопытством следя за маневрами миноносцев. Посредине же реки, охраняемая караулом, целая плавучая могила, безмолвная и недвижимая.

Рупор с «Прыткого» вполголоса передает порядок действий на другие суда. «Ретивый» подходит к барже и, не выдавая себя, удостоверяется в присутствии драгоценного живого груза. «Прыткий» наводит орудия на шестидюймовую пушку, с тем чтобы разбить ее в упор при первом движении неприятеля, но одновременно наблюдает за пехотой.

Но как же снять с якоря баржу, как вытащить ее из узкой ловушки, образуемой мелями, островом и перекатом? К счастью, тут же у пристани дымит неприятельский буксир «Рассвет». Наш офицер в блестящей морской фуражке передает его капитану беспелляционное приказание.

– Именем командующего флотилией адмирала Старка приказываю вам подойти к барже с заключенными, взять ее на буксир и следовать за нами через реку Белую на Уфу.

Приученный белыми к беспрекословному повиновению, капитан «Рассвета» немедленно исполняет приказание: подходит к барже и берет ее на буксир. Бесконечно медленно тянутся эти минуты, пока неповоротливый пароход, шумно шлепая колесами-жабрами, подходит к барже, укрепляет тросы, дымит и разводит пары. Команда наша замерла, люди страшно бледны, и верят и не смеют поверить этой сказке наяву, этой обреченной барже, такой близкой и еще бесконечно далекой. Шепотом спрашивают друг у друга:

– Ну что, движется или нет? Да она не движется.

Но «Рассвет», напуганный строгим окриком капитана, чудесно исполняет свою роль. На барже заметно движение. Сам караульный начальник и его команда, сложив винтовки, помогают выбирать якорь. И понемногу тяжелая громада выходит из равновесия, трудно разворачивается ее нос, натянутые канаты слабеют и снова тянут свою упрямую спутницу. «Прыткий» окончательно успокаивает смущенных тюремщиков.

– Именем командующего приказываю вам сохранять полное спокойствие, мы пойдем впереди и будем вас конвоировать.

– У нас мало дров, – пробуют возражать с «Рассвета».

– Ничего, по дороге погрузите, – отвечает комфлот, и миноносцы, не торопясь, чтобы не вызвать подозрения у наблюдающих с берега белогвардейцев, начинают отходить к Сарапулю.

А там, в трюме баржи, уже началась тревога: «Зачем везут, куда и кто?» По отвратительному, грязному полу пробирается на корму один из заключенных, матрос. Там в толстой доске перочинным ножом проверчена дырка, единственный просвет, в который видно кусок неба и реки. Долго и внимательно наблюдает он за таинственными судами и их молчаливой командой. Читая луч надежды на его лице или новое опасение, искаженные лица окружающих кажутся одним общим лицом, неживым и неподвижным.

– Да ведь они все одинаковые, серые, длинные. Белогвардейские или нет? Смотри внимательно, смотри скорее.

– Да нет.

– Что нет, черт тебя дери?

Наблюдатель сваливается с табуретки.

– У них нет таких железных, это наши, это балтийские, на них матросы.

Но несчастные, три недели пробывшие в гнойном подвале, спасшие и евшие на собственных экскрементах, голые и завернутые в одни рогожи, не смеют поверить.

Уже в Сарапуле, когда на пристанях кричал и плакал приветствовавший их народ, когда матросы арестовали белогвардейский караул и, не смея спуститься в отвратительный трюм, вызывали из этой могилы заключенных, еще тогда отвечали проклятиями и стонами. Никто из четырехсот тридцати не верил в возможность спасения. Ведь вчера еще караульные выменивали корку хлеба и чайник на последнюю рубашку. Вчера на рассвете из общей камеры на семи штыках выволокли изорванные тела трех братьев Красноперовых и еще двадцать семь человек. Уже целые сутки в отверстие на потолке никто не бросал кусков хлеба (по ¼ на человека), единственной пищи, утолявшей голод в течение трех недель.

Перестали кормить, значит уже не стоит тратить даже объедков на обреченное стадо, значит ночью или в серый, бескровный, утренний час придет конец для всех, – конец еще неведомый, но бесконечно тяжкий. И вдруг привезли, открыли голубую и серебряную дыру в ночное небо и зовут всех наверх странными, страшно взволнованными голосами, и зовут каким именем – запрещенным, изгнанным – «товарищ». Не измена ли, не ловушка ли, новое ухищрение?

И все-таки в слезах, ползком, один за другим, они воскресли из мертвых. Что тут творилось на палубе! Несколько китайцев, у которых никого нет в этой холодной стране, припали к

ногам матроса и мычанием и какими-то возгласами на чуждом нам языке воздали почести и безмерную преданность братству людей, умирающих друг за друга.

Утром город и войска встречали заключенных. Тюрьму подвезли к берегу, опустили сходни на «Разина» – огромную железную баржу, вооруженную дальнобойными орудиями, и через живую стену моряков четыреста тридцать два шатающихся, обросших, бледных сошли на берег. Вереница рогож, колпаков, шапок, скрученных из соломы, придавали какой-то фантастический вид процессии выходцев с того света. И в толпе, еще потрясенной этим зрелищем, уже просыпается чудесный юмор.

– Это кто же вас так нарядил, товарищи?

– Смотрите, смотрите, это форма Учредительного собрания, – каждому по рогоже и по веревке на шею.

– Не наступай мне на сапог, видишь – пальцы торчат. – И выставляет вперед ногу, обернутую грязным тряпьем.

Еще приближаясь к берегу, голосами, пролежанными на гнилой соломе, они начали петь марсельезу. И пение это не прекращалось до самой площади. Здесь представитель от заключенных приветствовал моряков Волжской флотилии, ее командующего и власть Советов. Раскольникова на руках внесли в столовую, где были приготовлены горячая пища и чай. Неопикуемые лица, слова, слезы, когда целая семья, нашедшая отца, брата или сына, сидит возле него, пока он обедает и рассказывает о плене, и потом, прощаясь, идет к товарищам-морякам благодарить за спасение.

В толпе матросов и солдат мелькают шитые золотые фуражки тех немногих офицеров, которые проделали весь трехмесячный поход от Казани до Сарапуля. Давно, я думаю, их не встречали с таким безграничным уважением, с такой братской любовью, как в этот день. И если есть между интеллигенцией и массами чудесное единство в духе, в подвиге и жертве, оно родилось, когда матери рабочих, их жены и дети благословляли матросов и офицеров за избавление от казни и мук их детей.

## Маркин

Каждое утро боцман флагманского судна «Межень», довольный и улыбающийся, доносит о падении температуры в Каме.

Сегодня термометр остановился на ½ градуса, в воздухе – ноль. По течению плывут одинокие льдины, вода стала густой и медленной, над поверхностью дымится постоянный туман, верный предвестник мороза. Команды судов, совершивших всю трудную кампанию от Казани до Сарапуля, готовятся к зимовке, команды веселеют, предвкушая отдых. Еще день-два, и флотилия уйдет из Камы до следующей весны.

И только теперь, когда близок час невольного отступления, все вдруг начинают чувствовать, как дороги и незабываемы стали эти берега, отбитые у неприятеля, каждый поворот реки, каждая мохнатая ель над крутыми обрывами.

Сколько трудных часов ожидания, сколько надежд и страхов, – не за себя, конечно, но за великий восемнадцатый год, судьбы которого иногда зависели от меткости выстрела, от мужества разведчика! Сколько радостных часов победы останется здесь на Каме! Лед затянет суровые воды, избитые снарядами, исчерченные высокими бортами, лед навсегда скроет от нас омуты, ставшие могилами наших лучших товарищей и ожесточеннейших врагов.

Кто знает, против кого и в каких водах придется начать борьбу через год, какие товарищи войдут на бронированные мостики судов, таких знакомых и дорогих каждому из нас.

Тяжело стуча колесами и высоко в темноте покачивая сигнальный фонарь на мачте, уходит в Нижний кто-то из «транспортов».

Оставшиеся суда провожают удаляющегося товарища прерывистым ревом сирен, который долго не умолкает: каждый из них знаком, как голос друга. Вот резкий крик «Рошаля», вот пронзительный и короткий свисток «Володарского», вот «Товарищ Маркин» со своей грудной, оглушительной трубой.

Самые тяжелые воспоминания связаны для нас с этим прощальным приветом моряков. К нему прибегают суда, находящиеся в крайней опасности.

Так звал к себе на помощь несчастный «Ваня-коммунист», зажженный неприятельским снарядом, плавающий среди ледяных вод реки, окруженный всплесками, со сломанным рулем и оборванным телеграфом. Как долго, как непрерывно кричала его сирена.

Все чаще подымались вокруг фонтаны воды, уже на поверхности реки замелькали черные точки – люди, бросившиеся в плывь к берегу, и течением понесло вниз обгорелые щепы, какие-то ведра и табуретки, а она все не умолкала – окутанная паром, опаленная огнем, обезумевшая, страшная сирена смерти. Странно и неожиданно подошло это несчастье.

Еще накануне военная флотилия одержала значительную победу над белогвардейской флотилией: после двухдневного боя у села Битки последняя должна была бежать выше, и наши суда прорвались в тыл белым, расположенным на обоих берегах. Преследование продолжалось еще целые сутки, и только наутро третьего дня флотилия стала на якорь в чудесном плесе Камы, голубом, бирюзовом и янтарном под ясным солнцем ноября.

Решено было на время остановиться, подождать прихода десанта, так как разведчики принесли тревожные известия о сильных береговых укреплениях в селе Пьяный Бор, которые нельзя было взять с реки без поддержки нашей пехоты; к тому же запас снарядов совершенно истощился, на кораблях и барже оставалось по восемнадцать – пятьдесят выстрелов. В ожидании пехоты, которая всегда сильно опаздывала, моторные катера пошли на разведку, и матросы с удовольствием издали наблюдали неуловимо быстрые, стремительные тела, едва заметные в облаке пены, по которым белые открыли совершенно бесполезный ураганный огонь.

В высоких столбах воды, поднятых снарядами, играла огнистая дуга, и на реке ежеминутно вздымались и таяли пушистые, белоснежные и радужные фонтаны. С отмели поднялась

стая испуганных лебедей, мимо нее разбежался и прогудел гидроплан, и воздух наполнился лебединым криком, трепетом белых крыльев и пчелиным гудением винта.

И Маркин не выдержал. Маркин, командовавший лучшим парходом «Ваня-коммунист», привыкший к опасности, влюбленный в нее как мальчик, не мог со стороны наблюдать воинственную игру этого утра. Его дразнил и привлекал высокий песчаный обрыв, и Пьяный Бор, таинственно-молчаливый, и притаившаяся опушка, и эта батарея на берегу, где-то спрятанная, терпеливо ожидающая.

Как выбрали якорь, как скользнули вдоль запретного берега, как успели отойти далеко от своей стоянки, никто хорошо не помнит. И вдруг недалеко, почти перед собой, заметил Маркин прикрытие и за ним неподвижные, на него направленные дула.

Один корабль не может сражаться с береговой батареей, но это утро после победы было так хмельно, так безрассудно, что «Коммунист» не отступил, не скрылся, но вызывающе приблизился к берегу, пулеметом отгоняя прислугу от орудий. Безумству храбрых поем мы славу. Но на этот раз гибель Маркина была предreshена.

На помощь «Коммунисту», ушедшему далеко вперед, подошел миноносец «Прыткий». Можно не верить в предчувствия, но каким томительным волнением были охвачены все бывшие тогда на мостике «Прыткого». Это не страх – этой гнусной болезни никто не был подвержен, – но особое, единственное, какое-то щемящее ожидание, которое я лично тоже испытала, когда миноносец, ничего не подозревая, приближался к «Коммунисту».

Краткий разговор с корабля на корабль был последним для Маркина. Комфлот спросил по мегафону:

- Маркин, в кого вы стреляете?
- Мы стреляем по батарее.
- По какой батарее?
- Вон за дровами, видите, блестит дуло.
- Немедленно дайте полный ход назад.

Но было уже поздно. Едва машина миноносца сделала бешеный скачок назад, едва «Коммунист» последовал за ним, – белые на берегу, чувствуя, что добыча от них ускользает, открыли истребительный огонь. Снаряды валились градом. За кормой, по бортам, перед носом, – кругом. Через мостик они проносились с «сосущим» воем, как кегельные шары катятся и разрывая воздух. И через несколько минут «Коммунист» окутался облаком пара, из которого, танцуя, прыгал золотой язык, и заметался от берега к берегу со сломанным рулем. Тогда сирена закричала о помощи.

Несмотря на страшный артиллерийский огонь, мы вернулись к погибающему, надеясь его взять на буксир, как было под Казанью при гибели «Ташкента», который удалось взять на буксир и вывести из огня.

Но бывают условия, при которых самое высокое мужество бессильно: у «Вани-коммуниста» первым же снарядом разбило штуртрос и телеграф. Судно, ничем не управляемое, закружилось на месте, и миноносцу, с величайшим риском подошедшему к нему, не удалось принять на буксир умирающий корабль.

«Прыткий», сделав крутой оборот, должен был отойти. Как белые нас тогда упустили, просто непонятно. Стреляли в упор. Только поразительная скорость миноносца и огонь его орудий вывели его из западни. И странно, две большие чайки, не боясь огня, долго летели перед самым его носом, исчезая ежеминутно за всплесками упавших в воду снарядов.

Среди тех, кого удалось спасти, был и товарищ Поплевин, помощник Маркина. Человек молчаливый, необычайно скромный и мужественный, один из лучших на флотилии, он надолго сохранил синеватую бледность лица; и особенно ясно выступали на нем следы смерти, когда безоблачно сияло осеннее небо и невозмутимо журчала вода под золотистым камским берегом.

Он оплатил за своего друга и за гибель своего корабля. Ночью, когда самые сильные уставали, Поплевин бесшумно подымался на мостик и один под темным звездным небом смотрел, прислушивался, угадывал малейшее движение ночи, и никогда не уставала и не ослабевала его священная месть.

Маркина ждали всю ночь – Маркин не вернулся, и о нем грустили, стоя у руля, молчаливые штурвальные, и наводчики у орудий, и наблюдатели у своих стекол, которые вдруг казались мутно-водянистыми от непролитых слез.

Погиб Маркин с его огненным темпераментом, нервным, почти звериным угадыванием врага, с его жестокой волей и гордостью, синими глазами, крепкой руганью, добротой и героизмом.

Погиб «Ваня-коммунист»; на миноносцах расстрелянные пушки остались почти без снарядов, а обещанный десант все не приходил. Тогда в сумерки на моторном катере сняли брезент с четырех темных продолговатых предметов, сложенных рядами.

Минеры, флагманский штурман и командующий долго совещались, склоненные над картой, и, когда выходили из кабинета, были молчаливы и пожали руки уходящих особенно крепко. Комфлот проводил четырех матросов и офицера на палубу, и через несколько минут истребитель, груженный минами типа «рыбка», скрылся за островом.

Вернулся он под утро, на корме уже не видно было черных, длинных, похожих на усатые ведра, мин. Теперь оставалось одно: спокойно ждать. И действительно, на второй день белые, отпраздновав всеобщим пьянством гибель «Коммуниста», перешли в наступление.

Шли в кильватерной колонне, торжественно, как на парад. Сам адмирал Старк, командующий белогвардейской флотилией, впервые лично принял участие в походе. Его флаг был поднят на «Орле». Но, едва поравнявшись с «Зеленым островом», торжественное шествие должно было остановиться. Пароход «Труд», шедший головным, вдруг стал, и нос его буквально оторвало от корпуса: мины сделали свое дело.

Теперь на обледенелых берегах Камы, почти рядом, лежат разрушенные и обгорелые остовы двух кораблей: «Вани-коммуниста» и белогвардейского «Труда». И кто знает, быть может, под непроницаемой поверхностью реки, на темном дне, прибило течением друг к другу Маркина и тех презренных, которые из пулеметов добивали его утопающую команду.

Покидая Каму, быть может, навсегда, моряки долго и неохотно прощались. Ничто не сближает людей так прочно, как вместе пережитые опасности, бессонные ночи на мостике и те долгие, со стороны незаметные, но мучительнейшие усилия воли и духа, которые готовят и делают возможной победу.

Никакая история не сумеет заметить и по достоинству оценить большие и малые подвиги, ежедневно совершавшиеся моряками Волжской военной флотилии; вряд ли даже известны имена тех, кто своей добровольной дисциплиной, своей, неустрашимостью и скромностью помогли созданию нового флота.

Конечно, отдельные лица не делают истории, но у нас в России вообще так мало было лиц и характеров, и с таким трудом они выбивались сквозь толщу старого и нового чиновничества, так редко находили себя в настоящей, трудной, а не словесной и бумажной борьбе. И раз у революции оказались такие люди, люди в высоком смысле этого слова, значит Россия выздоравливает и собирается.

И их немало. В среде, которую пришлось мне наблюдать, их было много. В решительные минуты они сами собой выступали из общей массы, и вес их оказывался полным, неподдельным весом, они знали свое геройское ремесло и подымали до себя колеблющуюся и податливую массу.

Вот спокойный, немногословный Елисейев, чудесный наводчик, Подбивавший лодчонку на двенадцатикилометровой дистанции из дальнобойного орудия, со своими синими, без ресниц, глазами, опаленными при разрыве орудия, всегда устремленными куда-то далеко вперед.

Вот Бабкин, больной, всегда в жару и с пьяными глазами, которому осталось недолго жить и который по-царски расточает сокровища своего беззаботного, доброго и непостижимо стойкого духа.

Это он приготовил белым минное поле, на котором подорвался их сильнейший пароход «Труд».

Вот Николай Николаевич Струйский, флагманский штурман и напер<sup>1</sup> флотилии во вторую половину Камского похода. Один из лучших специалистов и образованных моряков, служивших безукоризненно Советской власти в течение всей гражданской войны. Между тем его вместе с несколькими младшими офицерами насильно мобилизовали и чуть не под конвоем привезли на фронт. На «Межень» они прибыли, ненавидя революцию, искренне считая большевиков немецкими шпионами, честно веря каждому слову «Речи» или «Биржевки».

На следующее же утро по прибытии они участвовали в бою. Сперва сумрачное недоверие, холодная корректность людей, по принуждению вовлеченных и чужое, несправое, ненавистное дело. Но под первыми выстрелами все изменилось: нельзя делать наполовину, когда от одного слова команды зависит жизнь десятков людей, слепо исполняющих всякое приказание, и жизнь миноносца, этой прекраснейшей боевой машины. От каждого матроса – стальная нить к капитанскому мостику, к голосу, повелевающему машиной, скоростью, огнем и колесом штурвала, вращающемуся в дрожащих руках рулевого. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, будет упорно нападать и сопротивляться, блестяще и невозмутимо исполнять свой профессиональный долг. А потом, конечно, он уже не свободен. Его связывает с комиссаром, с командой, с красным флагом на мачте – гордость победителя, самолюбивое сознание своей нужности, той абсолютной власти, которой именно его, офицера, интеллигента, облачают в минуту опасности.

После десяти дней походной жизни, которая вообще очень сблизжает, после первой победы, после первой торжественной встречи, во время которой рабочие какого-нибудь освобожденного от белых городка с музыкой выходят на пристань и одинаково крепкожимают и руку матроса, первым соскочившего на берег, и избалованные, аристократические пальцы «красного офицера», который сходит на «чужой» берег, нерешительно озираясь, не смея еще поверить, что он тоже товарищ, тоже член «единой армии труда», о которой так взволнованно, неуклюже и радостно трубит хрипящая труба провинциального «Интернационала».

И вдруг этот спец, этот императорский службы капитан первого ранга с ужасом чувствует, что у него глаза на мокром месте, что вокруг него не «шайка немецких шпионов», а вся Россия, которой бесконечно нужен его опыт, его академические знания, его годами усидчивого труда воспитанный мозг. Кто-то произносит речь – ах, эту речь, задиристую, малограмотную, грубую речь, которая еще неделю тому назад не вызвала бы ничего, кроме кривой усмешки, – а капитан первого ранга слушает ее с сердцебиением, с трясущимися руками, боясь себе сознаться в том, что Россия этих баб, дезертиров и мальчишек, агитатора товарища Абрама, мужиков и Советов – его Россия, за которую он дрался и до конца будет драться, не стыдясь ее вшей, голода и ошибок, еще не зная, но чувствуя, что только за ней право, жизнь и будущее.

Еще через неделю, надев чистый воротничок, смыв с головы и лица угольную и пороховую копоть, застегнув на все золотые, с орлами, пуговицы китель, на котором не успели выгореть темные следы эполет и нашивок, товарищ Струйский идет объясняться со своим большевистским начальством. Он говорит и крепко, обеими руками, держится за ручки кресла, как во время большой качки.

– Во-первых, я не верю, что вы, и Ленин, и остальные из запломбированного вагона брали деньги от немцев.

---

<sup>1</sup> Наопер – сокращенное «Начальник оперативного управления». – *Примеч. авт.*

Раз – передышка, как после залпа. Где-то вдали, где морской корпус, обеда на «Штандарте» и золотое оружие за мировую войну, – взрывы и крушение. Запоздалый Октябрь.

– Второе: с вами Россия, и мы тоже с вами. Всем младшим товарищам, которые пожелают узнать мое мнение, я скажу то же самое. И третье: вчера мы взяли Елабугу. На берегу, как вы знаете, найдено до ста крестьянских шапок. Весь яр обрызган был мозгами. Вы сами видели – лапти, обмотки, кровь. Мы опоздали на полчаса. Больше это не должно повториться. Можно идти ночью. Конечно, опасный фарватер, возможна засада в виде батареи... но...

Из кармана достается залистанный томик «Действия речных флотилий во время войны Северных и Южных штатов».

## Астрахань

### I

Первые дни.

Ночи темные, голубые, и бесконечная степь.

У насыпи нахохленные, как хищные птицы, смуглые даже при свете узкой и отдаленной половецкой луны, отдыхают татары.

Таковыми же они были при князе Игоре, в своих теплых мерлушковых шапках, прикорнувшие к земле, похожие на природный камень. И, как сотни лет тому назад, мимо них идет Русь воевать на Юге.

В сумерках на пути скрипят и лязгают воинские поезда, но люди на одиноких степных полустанках спокойнее, крепче, увереннее, чем на страшных столичных вокзалах, где бивуак и больница, ночлежный дом и лагерь отвратительно смешаны. Чистый ветер разносит по безграничным просторам последние остатки привезенной нами городской пыли, самый дым паровоза отдает пылью.

Здесь уже вступает в свои права война. С первым раненым, которого подсаживают на высокую подножку вагона, она входит в нашу жизнь, чтобы не уходить из нее до конца.

Это человек лет сорока, с узловатой, коротко остриженной головой и маленькими глазами, в которых все время видно ровное золотистое дно его души. Большой загорелый лоб, покрытый следами изнурительного южного солнца, но где ни одно сомнение не оставило своей язвительной борозды. Рука у него в локте перерублена казацкой шашкой, и до сих пор на сером полотне рубашки затертый кровавый след. При отце – тринадцатилетний сын, совсем уже большой, красивый и ничего не знающий о своей красоте, полуребенок-полувоин, в профиль напоминающий воинственных ангелов Византии.

Как долго и ясно запоминается лицо этого мальчика: оно все целиком обращено в одну сторону, как бы навстречу сильному ветру, и на нем рдеет отблеск революции, которая прошла так близко и коснулась его детства горящим крылом.

Вероятно, он не узнает зрелых лет, никогда не возмужает, не прочтет книги, не коснется женщины. Это быстро идущее время унесет его где-нибудь среди зеленой степи, неожиданно окруженного конницей калмыков. Он будет долго защищаться, плечом к плечу со своими братьями и отцами, будет, вероятно, сломлен, и в безгранично голубом небе над его головой хищная птица опишет медленный стелющийся круг. Страх смерти, который на слабых лицах застывает, как жир на остывшей тарелке, на этом милом и мужественном лице зарисует свои лучшие морозные узоры, сказочные, бесконечные, неподвижно улыбающиеся.

Так гибнут дети революции.

### II

Астрахань тягостна. Астрахань безнадежна.

Она лежит, как распаленный желтый камень, посреди разлившейся Волги. К городу над затопленными полями ведут узкие железнодорожные насыпи: золотистые нити в целом море мутной, соленой, беспокойной воды.

Пахнет морем, солнце жжет, и город, состоящий из непросыхающей грязи, низких домов без лица и без возраста, из камня и пыли, пыли и зловония, развалин и пустырей, с трудом переводит дыхание.

Только ночью начинается жизнь. Лица, изнуренные лихорадкой и дневным жаром, так странно бледны при электричестве в единственном парне, где редкие старые деревья кажутся черными, лесными. Посередине, в тени кленов, светится освещенный изнутри, большой стеклянный гроб, до краев полный цветами. Кажется, точно странные розы, лилии небывалых размеров, маки и левкой сами излучают сияние: это могила революционеров, гениальнейшая из всех, мною виденных до сих пор.

### III

В солоноватой сыпучей пустыне, окружающей Астрахань, есть редкие оазисы: это старинные татарские сады.

Там цветет виноград, пахнет медом, вином и мятой. Ленивый вол, бесконечно вращая скрипучее первобытное сооружение, пригоняет воду из соленого болота к садам.

Белые розы так бледны и неподвижны и расточают тяжелое, драгоценное дыхание. Они напоминают о прохладном и низком, из засохшей глины вылепленном капище в степи, где на подножке из черного дерева царит азиатский божок, скрестив изысканно длинные ступни и ладони, и улыбается солнцу золотой улыбкой.

В зеленую шелковую траву с низко опущенных веток без шума надают персики; огненные помидоры на сухом стебле прекрасны и как-то слишком великолепны, как драгоценности, одетые с утра. А жаркие сливы – под их янтарной и сухой кожицей бродит разогретое вино.

Высоко в небе, над млеющими садами, слышно отдаленное гудение. Оно крепнет, но вокруг лепечет рай, и не хочется открывать глаз.

Это гудят пчелы в винограднике, это благовест зреющего лета.

И вдруг пробуждение: бросив гряды и шпалеры, сбегаются испуганные садовники, и все лица обращены к небу. Там из-за пушистого облака треугольником летят к городу три враждебные птицы, и на солнце при поворотах серебрятся их крылья, уверенные, почти ничем не рискующие, на чистом английском бензине плавающие крылья.

Навстречу трем низколетящим хищникам из-за леса поднимается наш неуклюжий, одинокий аэроплан. Он чувствует в своем нежном и неустойчивом механизме вредную, разъедающую «смесь», которая застревает в тончайших сосудах, дает перебои и ежеминутно грозит иссякнуть. Это безнадежный полет.

Летчик пренебрегает сенью волокнистых облаков, плывущих в воздушном море белым полуостровом, и прямо с земли, не кружась, но подымаясь круто и шумно, как воин в полном тяжелом вооружении, взбегает на вершину незримой воздушной горы.

Кто он, неизвестный летун, сердце каких царей стучит в его груди, какая кровь героев впускает эту безрассудную, ни с чем не сравнимую прямопу его полету?

Там, внизу, лежит беззащитный город: он никого не мог вдохновить на подвиг своими грязными улицами и злым, ненужным людом, готовым задушить революцию и все красные побег жизни.

И все-таки он подымается. Уже слышен в небе треск пулеметов, и немного выше неприятельских машин курятся белые клубки дыма: это с берега единственная пушка, медленно поворачивая циклопический глаз, нашла отдаленную цель и бросает в пространство смерть.

Они ушли. Они не выдержали этого неукоснительного сближения. Вон уже далеко блестят их чешуйчато-серебряные спины, и едва доносится враждебный гул. Широкой радостной дугой плывет домой наш аэро. Верно, сейчас лицо летчика под маской бело, и каждая его черта законченна и огромна, а глаза пристальны и блестящи, глаза давно исчезнувших воинственных птиц.

## IV

*Где вышиты золотом осы, цветы и драконы...*

Розовым пожаром заходит солнце.

Легкая арба быстро мчит к городу, где-то далеко остались сады и воздушная битва над ними. Мелкорослые и грязные, как бездомные собаки, плетутся к кремлю предместья. У дверей и ворот татарского квартала сидят важные старики в опрятных шелковых халатах и белых чулках. На их лицах розовый отблеск солнца, более древний, чем пурпур наших знамен. Они сидят и молча грезят, быть может, о старинных буддийских иконах, какие приносят из степных сел наши разведчики. Вот одна из них: на фоне, темно-зеленом, как чувственная и торжествующая южная весна, сияет розовый полукруг зари, и под сенью его, скрестив изысканно тонкие члены, восседает утреннее божество.

Его лицо того же темно-зеленого цвета, и на нем, цветущей ветвью среди листвы, улыбается густой, острым полукругом очерченный рот. В одной руке пурпурный колокольчик, в другой – песочные часы, но не одинокие часы Дюреровой Меланхолии, по крупинкам мерящие отчаяние, но часы пробуждения и вечной жизни. Над головой дружественно стоят рядом, разделяя изумрудное небо, – справа солнце, слева луна. Оба светила окружены клубящимися облаками, несколько мягче окрашенными, чем алый нимб, с которым они сливаются. За ними – бесконечность.

Необычайны глаза этой азиатской Авроры. Слегка косые, под агатовыми бровями, с утренней звездой между ними. Это глаза самых загадочных портретов Возрождения, но без их двусмысленной слабости и художественной лжи. Глаза мудрые, холодные, устремленные в себя, несмотря на сладостную улыбку. На руках, совершенно женских, красные браслеты. Но грудь зелено-пурпурной Эос не обозначена ни единой чертой. Таким образом, она, прекраснейшая среди богов и древних людей, непорочная, с торсом юноши, смеющаяся заря, в очах которой вся радость и печаль еще не наступившего дня. У ног ее лежит земля, темная, покрытая лесами, с одной светлой, проснувшейся, озаренной поляной посередине.

## V

Виделись с Беренсом, командующим всеми морскими силами Республики. Он приехал на фронт, милый и умный, как всегда, уязвленный невежливостями революции, с которыми он считается, как старый и преданный вельможа с тяжелыми прихотями молодого короля.

Его европейский ум нашел неопровержимую логику в буре и, убежденный ею почти против воли, добровольно сделал все выводы из огромной варварской истины, озарившей все извилистые галереи, парадные залы, сады и капеллы его полупридворной-полуфилософской души. И хотя над головой Беренса весело трещали и рушились столетние устои и гербы его рода, а под ногами ходуном заходил лощеный пол Адмиралтейства, его светлая голова рационалиста восторжествовала и не позволила умолчать или исказить, хотя сердце кричало и просило пощады.

Наконец к его опустошенному дому пришла новая власть, заставила себя принять и потребовала присяги в верности. Он принял ее взволнованный, со всей вежливостью куртуазного XVIII века, стареющего дворянина и вольтерьянца, сильно пожившего, утомленного жизнью, а на склоне дней еще раз побежденного страстью – последней, нежнейшей любовью к жизни, молодости и творчеству, к жестокому и прекрасному ангелу, обрызганному кровью и слезами целого народа и пришедшему наконец судить мир. Революция заставила Беренса – теоретика и сибарита – засучить кружевные манжеты и собственными руками рыть могилу своему мертвому прошлому и своему побежденному классу. Беренс вооружает корабли про-

тив реставрации и верит, вопреки всем догмам, что его маленькие флотилии, нагруженные до краев мужеством и жадной жертвы, могут и должны победить.

После падения нашего Царицына Беренс сидит у себя в каюте, и глаза его становятся такими же, как у всех стариков, в одну ночь потерявших сына.

## VI

10 июля 1919 года.

– Товарищ командующий, исполкомцы на ту сторону просят, разрешите их переправить.

– Нельзя, они с нами пойдут в поход и будут показывать деревни, занятые казаками.

Вперед выступает коренастый, загорелый, с веселыми живыми глазами председатель какого-то сельского комитета, бежавший из своей степной резиденции с приходом кадет и сообщивший очень интересные сведения. Оказывается, в двадцати пяти верстах выше по течению прибрежная деревенька уже занята двумя казацкими полками, и на площади за церковью спрятаны четыре орудия. На заре вся эта сила должна двинуться на наш штаб в Р. А где же они теперь?

– Кто? Казаки? Купаются. Сегодня до ночи у них отдых. И люди и кони все в реке. Очень жарко.

И действительно, день огненный. Река неподвижно разметалась среди золотых песчаных берегов. Парит. Изредка из воды блеснет тяжелая рыба. Если бы не береговые батареи, как хорошо подойти сейчас по сонной и разгоряченной реке к этому берегу, где дикая орда полощется в реке, где среди брызг блестят на солнце широкие спины наездников, совсем как у Леонардо в его «Купающихся воинах». Ночью назначен поход.

Чудесная ночь. Опять эта низкая розовая луна, железная и жемчужная, жестокая, как запах полыни, и нежная, как цветение виноградников. Миноносцы тихо идут против течения, время исчезает, реи, как сеть, трепещут в небе, и в них полный улов звезд.

Проходим деревни, где спят, отдыхают и думают о завтрашнем набеге сотни врагов. Корабль в темноте выбирает место, наводит орудия, и по тихой команде из огромных тел выплескивается огонь.

Там, на берегу, уже умирают.

Маленький крестьянин-совдепец стоит на железном мостике, зажав уши руками. При магическом свете залпов видно на мгновение его лицо, с редкой рыжей бородкой, его белая рубашка и босые ноги. Он оглушен, – но после каждого взрыва на берегу по этому лицу пробегает какая-то величавая улыбка, какое-то смущенное, неосознанное, почти детское отражение власти. Вот он стоит в лаптях, русский мужик в лаптях, на бронированной палубе военного корабля, и весь этот быстроходный, бесшумный гигант, со своим послушным механизмом, с кругами радио телеграфа на мачтах, с знаменитым моряком-артиллеристом у дальномера, принадлежит ему и служит верховной его воле, его, Ивана Ивановича из села Солодники. Никогда и нигде в мире мужицкие лапти не стояли на этом высоком гордом мостике, над стомиллиметровыми орудиями и минными аппаратами, над целым человечеством, разбитым вдребезги и начатым сначала революцией.

Вынимая вату из уха, светило Морской академии Векман наклоняется к безмолвному, сжавшемуся в комочек и торжествующему Ивану Ивановичу и спрашивает его в темноте:

– Товарищ совдепец, выше или ниже колокольни, правильно ли мы бьем?

Иван Иванович ничего не отвечает, но по его блестящим глазам и сморщенному лбу видно, что стреляют верно.

Светает.

Вот совсем у берега грохнул снаряд.

– Это не иначе, как в дом Микиты! Богатый мужик – десять коров имел, не меньше, у него и приезжие офицеры останавливаются.

Белые не отвечают, но в темноте чувствуется их отчаянное бегство. Едва одетые, на своих необъезженных лошадях, они всю эту горячую и долгую ночь проскачут степью, и за ними внезапно воскресший призрак монгольского первобытного страха. Дом Микиты горит, пушки давно замолчали.

Миноносец выбирает якорь и спускается по течению.

## VII

Прекрасны старики революции. Прекрасны эти люди, давно пережившие обычную человеческую жизнь, и вдруг на том месте, где обыкновенно опускается занавес и наступает темнота и сон, завязавшие нить незаконной молодости духа.

Вот Сабуров, Александр Васильевич. Старший его сын убит на войне, жена незаметно свернулась в клубочек легких, мягких пепельно-серых стареющих мыслей и чувств. Сам он прошел всю гамму – от лейтенантских эполет до эмиграции в Париж еще во время Шмидта, в деле которого косвенно был замешан.

В эмиграции Сабуров жил, как тысяча политических изгнанников: из простых слесарей на фабрике дослужил чертовы часы показывали Сабурову пятьдесят восемь лет, когда случилась революция, и он, все бросив, вернулся в Россию, чтобы сразу поехать на фронт в качестве морского офицера.

Наверное, еще переплывая седую Балтику, он сидел где-нибудь один на спардеке, слушая, как тяжелые волны бьются о борта, как торопливо пробегают матросы по палубе, как дышит и курится море, считал свои потерянные годы и видел перед собой свое новое, безумно молодое призванье.

Он приехал на Волгу в разгар чехословацкого наступления, и ему под Казанью дали тяжелую, медленную, зашитую в железо баржу, на которой по очереди грохотали, а потом стыли и курились дальнобойные орудия.

Как он чудесно управлял огнем! Маленький, заросший бородой, из которой виднеется черенок вечной трубки, со своими чуть косыми татарскими глазами и французскими приговорами, Александр Васильевич присядет у орудия, посвистит, помигает, прищурится на узорчатую башню Сумбеки, такую же древнюю, почтенную и внутренне изящную, как он сам, и откроет отчаянную канонаду.

С третьего выстрела в Казани что-то горит, неприятель отвечает, и маленький буксир, пыхтя и надрываясь, срочно вытягивает «Сережу» из-под дождя рвущихся снарядов.

О, эти контрасты: неповоротливая громада и ее безошибочно точный огонь, эти колоссальные орудия и управляющий ими добрейший, маленький, живой Александр Васильевич, который мухи не обидит, но становится безмолвен, холоден, как камень, в самые тяжелые минуты и мимо которого каждый день проходит смерть, слепая, с распростертыми крыльями, влажными от фонтанов отравленной, кипящей и рвущейся воды.

Смерть проходит мимо, не смея оборвать шестидесятого года этой царственной старости.

## VIII

*Le jour de gloire est arrivé,  
Formes vos bataillons...<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Пришел день нашей славы, Стройте батальоны... «Марсельеза».

Черный и красный цвет окрашивает наши знамена. Черный – в дни медленных похорон. Через раскаленный город идет отряд моряков-музыкантов.

Трубы блещут, по мертвой мостовой гремят шаги, и флаги кажутся изваянными из черного камня – так они тяжелы и суровы. Складки шевелятся, как в забыты, и видят сон о глубоко, прохладном небе, о ранней северной весне, о первых чайках над Кронштадтом, о первых снежных каплях, текущих в апреле.

Астрахань вокруг задыхается. Только легким мачтам рыбачьих лодок легче дышать на воде. Город лежит, закрыв глаза, влажный от пота и пыли, не находя отдыха у каналов, где жар курится еще сильнее, пропитанный малярией.

Ровно и ритмично идут через город матросы. Над пустырями, среди развалин и над всей скучной пустыней, из камня и безобразных крыш, парит, трепещет и зовет «Марсельеза». Она коснулась высоких, неспешных нот, уже прошедших всю гамму горя об убитом. Она на вершине. Там, прямо под небом, песня-орлица озирает и видит всю жизнь, которая стелется дорогой далеко внизу без конца и начала.

И видит: вот широкая голубая река, текущая среди соленых песков к морю. Марсельеза крепнет и подымается выше. Гроб тихо качается, прохожие оглядываются на небольшую процессию, на лица моряков, которые и видят и не видят вокруг себя, окутанные горящим вуалем музыки.

А она между тем, опираясь на медь трубы и широкую грудь барабана, приветствует продолговатое судно, идущее против течения по безлюдной, знойной реке. На крыльях памяти траурный мотив следует за ним.

Знамя проснулось и задрожало. Его как бы коснулся свежий ветер с моря, напитанный угольной пылью трех широких серых труб. Моряки не поднимают глаз, и, сворачивая к пригородам, один из них вспоминает: это было на «Расторопном».

На минуту в мощном горле труб раздается хрипение слез, но они оправляются, и снова революционный гимн парит и плавает в чистом небе мужества и гордости.

Это было на «Расторопном». Он был в разведке, далеко от своих, и обнаружил засаду на берегу реки. Миноносец открыл огонь из двух орудий, сам расстреливаемый в упор.

И в напряженной суете защиты, когда комендоры, обжигаемые дуновением своих орудий, ищут и меняют цель, звенят пустые гильзы, лоцман боязливо склоняет голову при свисте близких снарядов, когда маленький командир, став на пустой ящик, видит свое судно, от носа до кормы окруженное всплесками и зависящее от малейшей вибрации его голоса и его воли, в это время был ранен и молча умер матрос Ериков. Вот и все.

Марсельеза окончила свой рассказ. Плавно покачивается гроб на братских плечах. Быть может, тот, лежащий внутри, хочет спросить – в последний раз – о своей пустой койке или о том, кто теперь по утрам, стоя высоко на мостике, передает с корабля на корабль изысканную азбуку сигнальных флажков? Но смерть не снимает руки с синевато-белых губ, и никто не слышит несказанных слов. Гроб покоряется, и за ним бегут, расходясь бесконечно, как за кормой корабля, две дружные волны печали. На случайные лица в чужом и враждебном городе они роняют свою чистую и соленую пену.

## IX

Ночью телеграмма от Н.

Комфлот идет вниз, чтобы завтра вечером попасть на совещание.

Жаль уходить из В. в разгаре белого наступления, которое продолжается два дня и ночь. На реке редкий артиллерийский гром, армия тревожно спит, не раздеваясь, положив под голову оружие и хлеб. Все огни потушены. При свечах секретарь принимает и передает последние распоряжения, по бумаге бегают нетвердое перо, ветром задувает свет, на который летят тихие

темные бабочки. В воде колеблются звезды, и с голосами ночи сливается непрерывное, однообразное стрекотание радио. Вероятно, в перерыве между двух сухих земных телеграмм тоненькая заостренная мачта посылает нежный и неслышный привет небу. Из тускло-голубой тучи ей отвечают зарницы.

## X

Полозенко – это огромного роста матрос, тяжелый, медленный, с темным лицом и темными волосами.

За столом невольно замечаются его большие мозолистые руки, быстрые и гибкие, всегда берушие вещи в том месте, где у них скрыта точка тайного равновесия. Все, чего касаются титанические пальцы Полозенко, невольно распадается на равные и пропорциональные части, и эти части в его руке уже живут и поддерживают друг друга в пространстве.

От локтя до кисти на его загорелой руке синее выжженный японской иглой изящный и грозный дракон. Полозенко – летчик, когда он подымается на своей разбитой, никуда не годной машине, возле которой белеют клубки шрапнели, его рукава засучены, и, обвеваемый бурей, облитый солнцем, гонимый безумством храбрых, он видит на руне непреклонное маленькое азиатское чудовище, ожившее, с клубящейся разверстой пастью и занесенным, как кинжал, острием хвоста.

Тогда Полозенко смеется, ветер срывает с его губ этот смех, в далеко внизу рвется брошенный им чугун.

На днях умер в душной Астрахани шестимесячный сын Полозенки. Он подымается после этого по три-четыре раза в день, вопреки всем предупреждениям. Теперь на его большом лице появилась еще черта – прямая и резкая, как он сам, значение которой неизбежно и непреклонно и перед которой опускаются человеческие глаза, не смея ее узнать.

Этой чертой бессильной силы отмечен Геркулес Фарнезе.

## XI

В Астрахани, в Морской госпиталь помещена семья, вернее остатки семьи Крючкова.

Они сидели за нищим обедом, когда случаю было угодно сбродить на их дырявую крышу бомбу с английского аэроплана. Все погибло, разорванное, распыленное, похороненное под обломками дерева и комьями земли. Уцелела мать, мальчик восьми и второй – двух лет, которому пришлось до колена отнять ногу.

Мать после операции двенадцатые сутки сидит на больничной койке и держит на руках бессонного ребенка, который не может лежать. У нее рыжие волосы, широкое скуластое лицо финского типа и ничего не видящие, испуганные животные глаза.

Ребенок на ее руках совсем голый, завернут в белое одеяло, маленький, с огромным пучком марли и бинтов на худенькой загорелой ножке. Руки беспокойно шевелятся, но голова этого двухлетнего спокойна, бледна и осмысленна, как у умирающего бога. Он в изнеможении закрывает глаза, но у него тогда лоб светится такой тайной и мыслью, что мать испуганно перестает причитать и развязный доктор отдергивает от неподвижной щечки свои привыкшие ко всему и неделикатные пальцы. Когда умирают дети, им, вероятно, является вся их не бывшая жизнь, отраженная снами, как зеркалом. За час мучений, за одну ночь бреда они переживают целую жизнь и – отдают ее без сожалений, как великолепное платье, одетое один раз на праздник и снятое навсегда со всеми цветами и благоуханиями.

Веки полуприкрыты и дрожат. На голом тельце жалко заметны пятна грязи, и на повязке все проступает и проступает розовая сырость. Мать смотрит на него неподвижно, оцепенелая. И, сидя на соседней койке, матрос с завязанной грудью вполголоса утешает: не всем нужны

ноги. Мальчик умный, его можно учить и сделать, например, телеграфистом. Почему телеграфистом? Раненый сам чувствует, что сказал неудачно. Но нужно чем-нибудь утешить, остановить слезы, заговорить кровь.

Маленький Федя совсем спокойно смотрит на бинты, которые уматывают с его тела. У него огромная душа.

## ХII

Бывают дни, когда события растут и сгущаются до крайних пределов. Даже мелочи кажутся многозначительными, восход пророчит долгий и неизвестный день, вечер рдеет и длится, как воспоминание. Становится понятен суеверный страх древних перед криком птицы, падением каменя, скрипом и перешептыванием мертвых вещей. Откуда спускается на людей, спускается редко, горным туманом на долины, этот страх, это предчувствие неизвестного, это неизбывное томление духа?

Нет, не бои, не раны, не огонь страшен на фронте. Не в бою старятся и дают трещины сильные и молодые, не борьба иссушает нервы и сердце заставляет биться медленно и прерывисто.

Это делает тайная болезнь души; назовите ее как хотите: массовое внушение, паника, навязчивый, ни на чем не основанный упадок – вот неизлечимый и таинственный недуг войны.

Самая здоровая часть может проснуться больной, зараженной, охваченной всеобщим головокружением ужаса. И тогда нужно все величие разума, вся его сосредоточенная, ледяная мощь, чтобы отогнать призраки, которые гораздо опаснее явного врага, и удержать на месте бегущих.

День испытания настал наконец и для нас. Как началось, почему и откуда – никто никогда не узнает. По степи промчался всадник, окруженный облаком пыли.

Вот и все. Конь и седок летят между нашими и неприятельскими окопами без смысла, без цели, гонимые фуриями. Движение лошади, наклон ее головы, хлопья пены на груди и губах, трепетание и хрип – все это слилось в один неудержимый, последний порыв: бежать, бежать, бежать.

Ничто, по-видимому, не изменилось. По-прежнему на синем зеркале реки солнце плавит отображения кораблей, тряская фура, запряженная унылой лошастью, везет раненого, обернутого охапкой свежего сена, а на вышке, где притаился наблюдательный пункт, уже господствует тревога.

В безлюдном поле десятки глаз ищут враждебного движения. Побледневший солдат со всей силой прижал к уху телефонную трубку. И уже они что-то видят – далеко, на горизонте, правее, левее, ближе. Целое фантастическое облако неуловимых врагов – везде разбросанных, отовсюду приближающихся.

По десяти проводам растекается ожидание с вышки в окопы. Где-то выстрел, где-то беспорядочный пулемет. Наблюдатель стоит у перил, не решаясь поднять к глазам бинокль. Его руки дрожат и похожи на концы испуганных крыльев. Подобно электрической волне, страх разливается до незримых пределов. Два любопытных аэроплана чертят небо: они как хищники, почуявшие пададь за много верст. В течение пяти дней этот же наблюдатель, не смущаясь, высматривал со своей шаткой каланчи наступление озлобленных и быстрых кочевников.

С этой же вышки, не думая ни о чем, кроме дистанции и целика, он управлял бурным и разрушительным огнем наших кораблей, хотя волна всадников уже заливала пригород и из-за углов жужжали первые шальные пули уличной борьбы.

Лицо наблюдателя в часы борьбы – отчетливо и просто, как парус, полный ветра, в ровном синем небе.

Пять дней маленький гарнизон спал не раздеваясь, спокойно убирал убитых и, отражая атаку за атакой, просто не замечал ни закатившихся, полуприщуренных глаз смерти, ни ее землистой бледности, выступающей среди обрывков платья. С павших снимали оружие и о них не говорили.

Даже страшное для пехоты слово «обход», даже оно было забыто. И хотя Черный Яр действительно был обойден со всех сторон и только спиной прислонился к Волге и флотилии, обхода никто не признавал. И вдруг – эта слабость.

Вызванный трепещущими красными флажками сигнальщика с корабля, на вышку приехал старший артиллерист товарищ Кузьминский. Пока он своими морскими глазами щупал сады, овраги, отдельные села, остальные напряженно смотрели на его лицо, наполовину скрытое биноклем, лицо, которое знали и любили: сперва губы сильно сжаты, потом, после первого напряжения, он переводит дыхание, вытирает хрустали. Глаза призрачные, как бы отсутствуют. Как дорогие оптические стекла, они поставлены сейчас на большое расстояние и не могли бы ни читать, ни улыбаться. Опять молчаливое наблюдение. Потом щеки, редкая черная борода, хищный нос – вся маска воинственного фавна приходит в движение. В улыбке блеснули золотые зубы. Бинокль отложен, глаза уже вернулись в себя – они человеческие и лукавые.

– Товарищи, да ведь это же не конница, а коровы.

На вышке сразу успокоились. Но через час напряжение опять возобновилось, и все росло, и стало мучительным.

Степь по-прежнему спокойна, из песчаной и дымчато-серой голубеет и розовеет к закату. И постепенно, не стовариваясь, наблюдатели отвернулись от далеких очертаний монастыря, откуда все утро ждали зла, и не могли уже оторваться от широкого степного моря, открытого и освещенного на сотни верст, где не видно ничего, кроме медленных огромных орлиных полетов.

И спокойный, почти мечтательный, похожий на человека, которому слышна отдаленная подземная музыка, опять вернулся на берег артиллерист и не колеблясь назначил сложную и совершенно неожиданную дистанцию своим дальнобойным морским орудиям.

Одинокий выстрел как-то неслыханно громко прокатился в степь – и снова все умолкло.

Ветер погладил ковыли, они стали под его рукой серебряные и поклонились до земли.

На вышке, в окопах, на мачтах, куда забрались марсовые, – везде напряженное ожидание.

Неужели тонкий математик Кузьминский ошибся, ошибся со всем своим инстинктом ученого и солдата, и брошенный им в неизвестность снаряд мирно разорвется в поле, никого не задев, к ужасу полевых цветов, уничтоженных огнем и отравками.

Еще два раза с большими перерывами ударили по тому же направлению и с тем же результатом. И вдруг команда – «беглый огонь».

Они появились как бы из земли, густыми, черными колоннами, выбитые из оврага жестоким огнем. Их было три тысячи, калмыков, черкесов и казаков, приготовленных в пятнадцати верстах от Черного Яра для ночного набега.

Они уходили, теряя людей на каждом шагу, неумолимо-озлобленные против этих северян, шесть дней простоявших на месте и чудом избежавших резни.

По извилинам карты, по слабому намеку моряк предугадал целую повесть: бурный летний дождь, крохотную балку, размытую ливнем в целую яму, и тихую ночь, когда, скользя копытом по глинистому скату, фыркая в темноте и под мохнатой мокрой буркой зажигая спичку, спустилась на ее дно кавалерия.

О, как спали следующую ночь в Черном Яре. Как весело чистили лошадей и оружие и как легко перешли на заре в наступление.

## Лето 1919 года

### I

Началось наступление.

После боев отряды флотилии настолько сблизилась, что могут непрерывно сообщаться по радио.

Корабли живут напряженной тайной жизнью: ведь они пробиваются к морю. Ежедневные походы, самая осада Царицына, которая будет жестокой, совершаются сами собой, как во сне. Главное – морская карта Каспийского моря, над которой по вечерам текут молчаливые часы размышлений.

Эта карта не похожа на обычные речные – воды испещрены на ней плавными линиями течений, звездами маяков и бесчисленными знаками предостережений. Она очень глубока в своем строгом черном и белом цвете. Эти извилистые черты берегов, хитрые мели, стремительные потоки, несущиеся от края до края, наконец ямы, уходящие в неизмеримую глубину и на поверхности тихие, как озера: сколько раз фантазия шествует через них, не замочив крылатых ног.

Слабый свет лампы лежит на лицах, на склоненных к столу – шахматной доске. Они играют с партнером, находящимся за сотни верст, по ту сторону лукавой, трудной карты, в Баку, Порт-Петровске и Эмбе.

Иногда глаза наперев застилаются туманом в предвидении отдаленных ходов, иногда краска приливает к вискам теоретиков: среди тысячи возможностей им блестит победа, потом опять грызущие сомнения перед двумя равноценными ходами, перед соблазнительным, легкодоступным входом в безопасную, голубую персидскую бухту.

Есть теоретически неразрешимые узлы...

Тогда по волнам летит корабль Летучего Голландца, невозможное становится возможным, падают преграды, тает туман, и дерзкая ладья готовит шах белому королю.

В ожидании похода старые матросы много курят и много молчат, улыбаются неизвестности и пишут длинные письма домой. А молодые испытывают какую-то особенную радость и полноту жизни.

Будут долгие дни без берега, без женщины, а потому особенно великолепным кажется лето, которое шествует по пояс в виноградниках и до кудрей погруженное в спелые ржи. Никогда ночи не были полнее звездного свечения, степь не цвела белее и пьянее под ризой мелких сухих цветов, никогда кровь не пела веселее в такт бегущему коню.

Поле кажется морем, солнце печет, золотисто-рыжий жеребец легко дышит и легко бежит, ветер отодвинул с диких глаз бронзовую гриву, и лебединый, широкий шаг укачивает.

О море, о синее море!

### II

О море написано бесконечно много. Оно шире гексаметра, громче славы, и нет человека, чья усталость и печаль не исчезли бы в его далях. Все остается позади, когда беспорядочный плеск реки вдруг тонет в победоносном голосе Каспия.

Ночь. Холодное небо в редких крупных звездах, и луна окружена невыразимо белыми молодыми облаками. Волга идет навстречу Каспию, все шире раскрывая объятия, идет тысячами рукавов, и ее плечи теряются в тумане. Иногда парусник снежно пройдет мимо на своих ласточкиных крыльях, озирая взморье, где не должна проскользнуть ни одна лодка лазутчиков.

Иногда винт запутается в рыбацких сетях и долго тянет их за собой, как водоросли, – если лоцман не заметит спящей лодки, которая стережет свой улов.

Никто не спит. Лунный свет скользит по давно знакомым фигурам. Черноусый рослый пулеметчик, и коротко остриженный затылок «флажка»<sup>3</sup>, и обычно вялое, а сейчас охваченное тоской о море, широкое лицо боцмана. Красивый юнга присел на корточки и грезит: тоже морем.

Только узкая полоска Каспия принадлежит нам. Но и этой полосы, где весь поток Волги не может заглушить соленой горечи прилива, ее уже достаточно, чтобы опьянить навсегда.

Очень медленно, издалека начинается день.

Корабли в море становятся видны за много верст, вырастают фантомами, кажутся неподвижно далекими островами. Черная, как скала, плавучая батарея; возле нее семейство крылатых шхун, и на горизонте дымки остальных.

После отчаянной качки на катере – необычайное спокойствие огромной железной палубы, середина которой едва заметно дышит.

Чай дымится в жестяных кружках, которые медленно и застенчиво расставляют серьезные матросские руки. Почти два часа незаметного похода – вся ночная усталость тает в равномерном скольжении, в трепете воды со всех сторон. Дремота сглаживает последнюю резкость очертаний, и кажется, у самого изголовья движется рейд.

И нервами, всей способностью осязать, всем существом люди предчувствуют и знают цель похода по утреннему морю; знают и еще два часа могут спокойно отдыхать, развешивать выстиранное белье на припеке, и курить, и дремать. Только лица – спокойно напряженные, как улыбка сквозь дурной сон.

У старинных кораблей на носу, лицом к ветру и высоко над водой, там, где только в бурю курится и плещет пена, прикреплялись точенные из дерева фигуры: наяды, и орлицы, и святые девы, руками и складками плаща хранившие свое судно от несчастья, – так вот у них в очах, неподвижно вперенных вдаль, это же выражение воли, застывшей как бы навек.

Наконец и боевая тревога, и силуэты врагов вдалеке, и остов их потонувшего на мине парохода «Араг».

Становится страшно легко и празднично. Нет лукавых извилин реки, ее засад и вечной тесноты. Белые со всех сторон, и открыто совершают свои маневры. Две подвижные тени кружатся около тяжелой, неповоротливой, похожей на наш плавучий форт, упорно не открывая огня и соблазняя приблизиться.

Гораздо правее на горизонте еще четыре дыма, всего семь белых против четырех красных. Мы останавливаемся – начинается артиллерийская дуэль. Белые обеспокоены – первый залп дымится у них за кормой. Они не знают, что сегодня огнем управляет скромный невзрачный человек, с русой близорукой головой мыслителя, для которого вся жизнь сосредоточилась на корабле и который всю нежность и творчество своей молодости, поглощенной нищетой и наукой, сосредоточил на боевом огне, на дальности его в точности, на тончайших оттенках и особенностях орудий.

Белые хорошо отвечают. Большой незнакомец оказывается обладателем шести пушек, и у нашего борта дымятся рядом три могучих всплеска. На воде крупными рыбами блестят и трепещут осколки, и потом доносится запоздалый вой и свист разрываемого воздуха.

Спустя неделю, когда на батарее не было холодного Соболева, ее командир, старый матрос одиннадцатого года Елисеев, сошелся с «Хаджи-Хаджи» вплотную, сам получил тридцать девять пробоин и сбил у белых одно орудие. Комиссар, с железом в боку, не ушел с мостика. Капитана унесли умирающим.

С моря мы шли туманом, и только утром из него вышла теплая, веселая земля.

---

<sup>3</sup> Флаг-офицера. – *Примеч. авт.*

### Ш

Эдгару По ворон явился в худшие часы его жизни. Черный ворон влетел в окно и, одинокий, сел на мраморном челе Афины-Паллады. Ворон – страж бесконечности, благородный свидетель горя, пустынный и судья.

Но с тех пор как высшая и лучшая жизнь ушла из траурного кабинета идей сперва на улицу, и дальше, за пределы города, – не слышно больше возвышенного и высокого клича. Осиротелый ворон распростер свои ночные крылья, украшенные оттенком седины, и между складок вечно трепещущих занавесей улетел и скрылся в утренних сумерках. На вспаханном поле, среди влажных комьев земли, над которыми уже парят пепельные нити ранней осени и дымится туман, ворон совершил долгую прогулку, одинокую и молчаливую.

Важно переставляя свои сильные ноги, наклоняя голову то направо, то налево, он шагает по пашне «походкой лордов» и не прикасается к низкой земной пище.

Иногда из его пурпурного горла вырывается хриплый возглас, от которого утренний ветер становится холоднее и которому не смеют отвечать невежественные сельские птицы. «Никогда, – восклицает ворон, – никогда!» Это крик монаха в черной рясе, который не верит великим переменам и освобождению пленника, одиночество которого он злорадно наблюдал в течение долгих ночей. И, взмахнув суровыми крыльями, с карканьем, похожим на захлебнувшийся смех и странное клокочущее воркованье, он улетаёт на юг.

Ворон достиг печального города, расположенного там, где голубая река впадает в мертвое море, безвыходно замкнутое сушею со всех сторон. Тепло и запах лета коснулись его утомленного тела, и, черный, он приблизился к зелено-желтой воде.

Здесь, в легком царстве приливов и отливов, рыбачьих сетей и тростника, господствуют чайки. Весь день с жалобным криком они рассекают молочный воздух крыльями, узкими и выгнутыми, похожими на новорожденный месяц. Их глаза блестят черным жемчугом в белых и розовых раковинах. Сухими кисточками пальцев они касаются воды и улетают, роняя вырвавшуюся рыбешку или разорванные четки брызг.

И черный король в изгнании, уголь среди летучих хлопьев снега, обрывок пиратского знамени, принесенный северным ветром, тяжело и нерешительно помахивая сизыми крыльями, ворон смешивается с беззаботной стаей птиц-буревестниц. Опускаясь к воде хищным движением, которым прежде он опускался на плечи могильного креста или перекладину эшафота, расправив острые когти, попиравшие в древности мудрейшие книги магов, ворон бьет грудью зеркало вод, но, видя под собой подвижную, прозрачную, неуязвимо-живую влагу, спешит отпрянуть в смущении и злобе.

Чайки плачут и смеются, опьяненные своим неустанным полетом, как на воздушных качелях, с безумной скоростью падают и поднимаются их ангельские крылья. А он тяжело бьется среди них и налитыми очами ищет неба, высоты и дали.

– Никогда, – кричит ворон, – никогда, – и удаляется, отягченный, как совесть.

Там, где над горячими песками болезненно рдеет закат, где редкие ядовитые бабочки означают близость ночи, где на растрескавшихся берегах весь день в пыли и зное продолжалось сражение и лошади без седоков, разрывая удила, бросались в плывь к противоположному берегу – там новая отчизна ворона. Его крылья благословляют низкий страх беглецов, бросивших оружие; и когда они, униженные и голодные, зажигают костры на болотистых островах и надеются на спасенье, – он, злорадный, кричит им с высоты: «Никогда!»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.